

T28 5/120


ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОЛОС



Р. Ц. № 942. Тираж 4000.—1922.

14 Государств. типография, Пет. Социалистическая, 14.

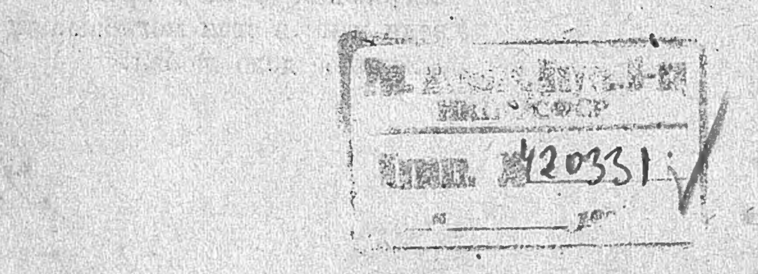
П. Н. СТОЛПЯНСКИЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕТЕРБУРГ

У КОЛЫБЕЛИ РУССКОЙ СВОБОДЫ

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

САНКТ-ПИТЕР-БУРГ
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ Т-ВО „КОЛОС“
1922


НКП РСФСР
Инв. № 120331

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕТЕРБУРГ

«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и кнутобесия, панегирист татарских нравов»—как удары молота по наковальне, звучали эти жестокие слова в небольшой комнате с низким потолком, плохо освещаемой двумя сальными свечами, уже успевшими изрядно нагореть. Но ни сам читающий, ни его слушатели, которые в количестве около двадцати человек разместились в комнате, не замечали нагара, не помышляли даже взять щипцы и поправить светильни: все были одно внимание, всех захватила целиком только что полученная рукопись, все попали под власть высокоталантливого неистового Виссариона, обрушившегося с искренним негодованием на великого русского писателя Н. В. Гоголя, только что выпустившего в свет свою «Переписку с друзьями».

Письмо Белинского к Гоголю увлекательно, с громадным пафосом читал молодой, только что начинающий, но уже пользовавшийся известностью Ф. М. Достоевский; чтение происходило в одну из знаменитых «пятниц» Петрашевского, на его квартире, на Покровской площади в Коломне.

Первая половина этого названия — «Покровская площадь»—понятна без об'яснения: на площади возвышается церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. 26 сентября 1812 г. на площади, через которую проходила Большая Садовая улица, была закончена постройкою каменная церковь.

Но вторая половина названия—«в Коломне»—вызывает ряд недоуменных вопросов: почему эта часть Петербурга получила название «Коломна»? Давно ли существует это название? И, наконец,—каким образом об'яснить это название?

Проще всего казалось такое об'яснение: устраивая свой «парадиз»—Санкт-Питер-бурх—Петр Великий населял его

переселенцами из разных концов России. Известно, что лучшие плотники выходили из уездного городка нынешней Московской губернии—Коломны. Отсюда само собою напрашивалось об'яснение, что та часть Петербурга, которая и теперь носит название Коломны, была при Петре населена плотниками, выходцами из Коломны, и своим названием сохранила память о своих первоначальных жителях.

Об'яснение хотя и логично и правдоподобно, но на проверку выходит не таковым.

Мастеровые люди, выписываемые Петром в свою новую столицу, назывались «переведенцами» и жили в «Переведенской слободе», которая была расположена между нынешним Екатерининским каналом (тогда рекою Кривуши) и нынешнею Казанскою улицею (прежде эта улица звалась большой Мещанской); эта «Переведенская слободка» сгорела в громадный пожар 1737 года. В местности же нынешней Коломны в Петровское время никто не жил, только начинались первые осушительные работы; их производил первый петербургский архитектор, инженер Джоменико Трезини, и слово «Коломна», как это ни кажется странным, вовсе не русское слово, а иностранное—исковерканное итальянское.

В Коломне рос болотный лес. Чтобы осушить эту местность, Трезини приказал рубить в лесу длинные просеки, которые и звал на своем родном (итальянском) языке—«колоннами». Русский рабочий, недовольный, измученный этими работами—приходилось быть чуть не по пояс в воде, чуть не голыми руками выкорчевывать громадные пни—тотчас переправил эту «колонну» в более знакомое, родное:—«Коломна».

«Куда идешь?» часто задавался вопрос среди русских рабочих.

«Да в проклятую Коломну, к Андрею Иванычу Дрезину— так перекрестили и Джоменико Трезини русские рабочие.

Умерли первоначальные жители Петербурга; лесные просеки превратились в широкие улицы, идя по которым трудно даже предположить, что здесь был болотный лес—и только название «Коломна» заставляет вспоминать давно прошедшие дни и первоначальных работников, строителей Невской столицы.

Так вот, если в настоящее время придти на эту Покровскую площадь по Садовой улице, с Невского проспекта, завернуть по площади налево, перейти Английский проспект. то в углу площади можно заметить за деревянным забором незастроенное место (планшет I, № 1), примыкающее к высокому пятиэтажному дому, выходящему на угол Покровской площади и Садовой улицы.

Этот пятиэтажный дом—один из старейших домов в этой местности, ему около ста лет. Стены, фундамент в нем старые, лет десять тому назад изменился лишь фасад—были сделаны выступы, балконы, подведены новые карнизы, наличники, украшения,—словом, до известной степени изменена внешность: из прежнего казарменного фасада сделали фасад ярко буржуазный.

Незастроенное сейчас место лет 70—80 тому назад было занято небольшим двухэтажным деревянным домиком.

23-го апреля 1849 года домик был окружен жандармами, и в четыре часа утра был арестован хозяин домика, титулярный советник департамента внутренних сношений министерства иностранных дел Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский и отвезен в крепость.

Арест этот был не единичным: жандармам было много работы в эту ночь, приходилось ездить по различным закоулкам Петербурга и по заранее составленному списку извлекать, одну за другою, в большинстве случаев вовсе не подозревавших, даже более того—не допускавших и возможности ареста—жертв Николаевского режима... В конечном результате большинство было освобождено, и 22 декабря того же года только над самим Петрашевским и 20 его сотоварищами была проделана «во имя правосудия» процедура приговора смертной казни,—описание ее читатель найдет ниже, когда речь пойдет о Семеновском плаце.

Сделаем сейчас же необходимую оговорку—как следует смотреть на предлагаемую вниманию читателей книжку, и какие требования, в зависимости от плана, выработанного автором, можно к ней пред'являть.

Жизнь за последнее время принимает слишком быстрый темп, события меняются чуть ли не с калейдоскопической поспешностью, нет возможности не только разбираться, осмысливать события, но подчас и просто зарегистрировать

их... В этом быстро несущемся потоке неизбежно смываются, исчезают следы прошлого,—того прошлого, которое должно было быть нашей реликвией. Этот процесс неизбежен, неотвратим; он, правда, суров и жесток, но логически об'ясним: строителям новой жизни дорого лишь новое, и нет времени мыслить о старом.

При переустройстве самой жизни и той обстановки, в которой совершается жизнь, перестраивается и сам Петербург, перекрещенный в Петроград. Исчезают старые маленькие домики, происходит, а в будущем безусловно усилится, перепланировка целых местностей... Былой Петербург, старый Петербург исчезнет, и для массы населения будет прямо невозможно представить себе, что там, где сейчас высится 7—8-этажная махина, стоял небольшой двух'этажный домик, и в нем жил, например, «неистовый Виссарион»—Белинский.

Наша задача—поставить вехи, значки над теми местами, которые, по нашему глубокому убеждению, должны находиться под охраной общественного «табу», проходя мимо которых прохожий должен обнажать голову.

Таким образом, наша книжка несколько более, чем простой путеводитель: при помощи этой книжки можно познакомиться с топографией действия, главным образом, народовольцев и их предшественников; но, кроме этого знакомства, читатель—такова была наша задача—должен до известной степени осмыслить и тех людей и те людские подвиги, перед которыми нужно преклоняться, и которые нужно знать, для того, чтобы по ним учиться жизни, учиться уважению к прошлому...

Только ребенок, в беспечном непонимании, может играть цветами на гробе матери,—взрослый человек видит в этих цветах глубокую, полную драматизма эмблему...

После этого отступления возвращаемся к нашему описанию, к исчезнувшему уже домику Петрашевского.

Домик был деревянным, маленьким, типичным домиком старой Коломны; наверху крыши шел резной конек, резьба была и под окнами; на улицу выходило крылечко с покосившимися от времени ступеньками, лестница в два марша вела во второй этаж, ступеньки и дрожали, и скрипели, и вызывали невольную боязнь—да выдержит ли лестница тяжесть поднимающегося по ней? Только в особенных случаях по ве-

черам лестница освещалась вонючим ночником, в котором коптело и чадило конопляное масло...

. В этом маленьком домике помещался хозяин всего этого земельного участка, сын бывшего штаб-физика, доктора, состоявшего при главном инспекторе медицинской части баронетте Виллие по особым поручениям, действительного статского советника Василия Михайловича Петрашевского. В большом каменном доме помещалась квартира его жены—вдовы с дочерьми. Сам Петрашевский после смерти отца не ввелся в наследство, не выделил из него мать и сестер, а наоборот, стремился пользоваться самою незначительною частью, а потому и занимал небольшую квартиру в деревянном флигельке.

В «гостиной» комнате стоял ломберный раскрытый стол, горела сальная свеча, лежали щипцы для снимания нагара и колокольчик.

Назначение колокольчика было самое прозаичное—вызывать из кухни, которая была сравнительно далеко, крепостного лакея; но досужая молва петербуржцев приписала этому колокольчику более значительную роль—он, говорили досужие сплетники и сплетницы петербуржцы, звенел в руках председателя в те мгновения, когда страсти разгорались, когда звучали громкие речи последователей Фурье, когда нужно было восстановить порядок.

Кроме ломберного стола, в этой комнате был обыкновенный рыночный диван и несколько, тоже невысокого достоинства, стульев. Рядом с этою комнатою был кабинет хозяина: в кабинете все было в видимом беспорядке, том беспорядке, который так обыкновенен у много работающих людей, с которым они свыклись и в котором быстро, с успехом ориентируются. Особенность этой комнаты заключалась еще и в том, что ни один ни шкаф, ни ящик письменного стола никогда не закрывались на ключ, словно подчеркивая, что хозяин в своей деятельности идет напрямик, не зная секретов и тайн. Даже уходя со двора, Петрашевский не запирал ни своего кабинета, ни своих шкафов, ни даже ящиков письменного стола.

В обычные дни домик был пуст и тих. Только в кабинете всю ночь горел огонь: за письменным столом, погрузившись в свои книги, изучая своего учителя Фурье, знакомясь с другими социалистами своего времени, сидел хозяин дома, Ми-

хаил Васильевич Петрашевский и не замечал, как наступало утро, как приходила пора уходить на службу.

Михаилу Васильевичу Петрашевскому исполнилось в то время 35 лет; среднего роста, полный собою, весьма крепкого сложения, брюнет, на одежду свою он обращал мало внимания, волосы его были часто в беспорядке, небольшая бородка, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, несколько прищуренные, как бы проникали в даль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный; голос низкий, негромкий; разговор его был всегда серьезный, часто с насмешливым тоном; во взоре более всего выражалась глубокая вдумчивость, презрение и едкая насмешка.

Эта насмешка и презрение особенно рельефно выразились в единственном печатном труде Петрашевского, выпущенном им под заглавием: «Карманный словарь иностранных слов».

В самом конце 1844 года в издававшихся в то время «Ведомостях С.-Петербургской Полиции» появилось об'явление такого содержания: «Подписка на карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, будет приниматься до 20 декабря сего года, и подписавшиеся до означенного времени получат экземпляр на лучшей веленевой бумаге: цена 1 руб. 50 копеек серебром без пересылки, по выпуске же в свет книги 2 рубля серебром и на простой бумаге. Кто из иногородных пожелает взять не менее 50 экземпляров, тому будет сделана уступка 20%. Подписка принимается у самого издателя Н. С. Кириллова, на Петербургской стороне, по Большому проспекту, близ Тучкова моста, в доме К. Семенова № 429».

Кириллов—небольшой, бесталанный беллетрист 40-х годов XIX столетия—дал свое имя на чужой труд потому, что на Петрашевского начальство уже смотрело косо, считая его «вредным» человеком: недаром Петрашевский был выпущен из лицея всего лишь XIV классом, недаром ему отказали и в месте воспитателя в лицее и преподавателя юридических наук, и едва ли разрешили бы выход в свет книги под его именем.

Но мало того, что словарь был приписан Н. С. Кириллову, в словаре имелось посвящение великому князю Михаилу Павловичу, который, по свидетельству современников, ничего не

читал, кроме приказов, и в его кабинете не было никакой печатной книги, кроме «Русского Инвалида».

И вот такому то ограниченному, невежественному, некультурному человеку была посвящена энциклопедия, долженствовавшая дать читателю квинт-эссенцию политических наук того времени, помочь развиться политической мысли в известном, определенном направлении.

Это посвящение было сделано не только для того, чтобы до известной степени оградить словарь от нападок обскурантов того времени,—нет, в этом посвящении видна та обычная ирония, насмешка, к которой так любил прибегать Петрашевский. В самом деле, несоответствие содержания книги с умственной и духовной физиономией того лица, которому она посвящалась, было слишком заметно.

Книжку критика того времени встретила очень сочувственно. «Литературная Газета» находила, что «нельзя не обратить внимания на весьма полезное издание «Карманный словарь иностранных слов... Современность понятий и определительность, с какою изложена большая часть статей словаря, приносит много чести его редакции»; «Финский Вестник», с своей стороны, подчеркивал, что «издатель г. Кириллов употребил все средства, дабы труд его оправдал вполне ожидания публики, уже нуждавшейся в подобном пособии. Определение слов сделано необыкновенно верно, просто и удобопонятно... Отдаем полное одобрение изданию г. Кириллова и предсказываем (как увидит читатель, предсказание «Финского Вестника» совершенно не сбылось) несомненный успех и благодарность соотечественников».

Даже «Северная Пчела», единственная частная ежедневная газета того времени, видимо, поддалась на мистификацию, позабыла свою роль Цербера для всех новых идей,—в этой газете появился сперва сочувственный отзыв; но Фаддей Булгарин быстро спохватился и раскритиковал словарь, хотя критика была и не по существу. «Мы нашли совсем не то, что обещало заглавие»—так начиналась критика,—«нашли длинные об'яснения терминов физических, церковных и некоторых иностранных слов. Пропущены самые простые слова, а нашли Мариеттова трубка, Лейденская банка, ландшафтная живопись. Спрашиваем, что это за иностранные слова?» Булгарин не приметил или, вернее, не захотел приметить, что это был

вовсе не «карманный словарь иностранных слов», а страстная проповедь социализма—и главным образом, Фурье. Мы говорим—«не захотел приметить», потому что не можем допустить, чтобы Булгарин не понял истинного назначения книжки. Наш взгляд на Булгарина вполне отличается от обычного взгляда, и мы надеемся, что нам когда-нибудь удастся обосновать наш взгляд.

И только тогда, когда начался процесс Петрашевского, вспомнили о словаре, и 3 февраля 1853 года были сожжены 1559 конфискованных экземпляров словаря. Случилось то, что впоследствии так поэтично, так картинно описал Некрасов в своем стихотворении «Пропала книга.»:

«Пропала книга! Уже была
Совсем готова—вдруг пропала!
Бог с ней—когда идее зла
Она потворствовать желала!..
. . . .
Но, может быть, она была
Честна... а так резка, смела?
Две, три страницы роковые...
О, если так, ее мне жаль!
И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

«Все человечество Фурье рассматривал, как коллективный организм, развитие которого подчинено известным законам, главнейший из них—необходимость труда: труд необходим потому, что без него немыслимо никакое богатство, а без последнего немыслимо никакое счастье. Но в современном обществе труд сделался проклятием. Какому человеческому влечению удовлетворяет современный труд, если всю свою жизнь рабочий исполняет одно и то же занятие, совершенно забывая о своих склонностях и способностях, если он трудится беспрерывно и никогда не получает полного вознаграждения? Горе и отчаяние только и могут быть последствиями такого безрадостного и безнадежного положения, которое состоит в полном противоречии с высшею идеею человечества—«всякому труду предлагается доля, прямо пропорциональная его полезности и обратно пропорциональная его привлекательности». Следовательно, нужно реформировать человеческую жизнь, надо создать новые условия жизни. А для этого человечество должно разбиться по фалангам с 1600—1800 чле-

нами мужчин, женщин, детей. Каждая фаланга обитает в фаланстере, громадном здании, в котором имеются мастерские, обслуживающие все отрасли промышленности; кроме фаланстера, у каждой фаланги имеется соответственный кусок земли для обработки. Все продукты производства делятся между тремя его факторами—капиталом, трудом и талантом; одна треть составляет дивиденд капитала, пять двенадцатых поступают в пользу труда, и одну четверть получает талант. Каждый член фаланги может принимать участие во всех трех долях—как капиталист, рабочий и обладатель таланта. Каждая фаланга производит продукт, соответствующий свойствам почвы, и отдельные фаланги обмениваются продуктами своего производства. Таким образом наступает всеобщая гармония».

Вот принципы Фурье, вот те начала, которые проповедывал «Карманный словарь». Но идем дальше—для начала, для создания первоначальной фаланги нужен всего только миллион франков. И где бы ни был Фурье, что бы он ни делал, втечение 10 лет, ровно в 12 часов дня, он был у себя на своей квартире и ждал филантропа с необходимым для Фурье миллионом...

Конечно, такого миллионера не нашлось, и бедный безумец-утопист так и не дождался заветного миллиона... А другой его последователь, в эпоху самого яркого проявления крепостничества и реакции, мечтал о насаждении фаланги в крепостной, николаевской Руси...

И как одно из средств такой пропаганды и были столь известные «пятницы» Петрашевского. В эти дни абсолютная тишина домика нарушалась. На лестнице тогда зажигался вышеупомянутый ночник, на окошке передней, выходившем на лестницу, ставилась зажженная свеча—из передней можно было видеть, кто идет по лестнице. И домик оживал. В гостиной сходилось обыкновенно человек от 7 до 10, часто было до 15, а раз в год, когда Петрашевский праздновал день своих именин или рождения, до 20—30 человек. На столе кипел весь вечер самовар, рядом с ним горела свеча, и гости вели разговор. Тут вовсе не бывали постоянно все одни и те же люди: иные бывали часто на этих вечерах, другие приходили редко, и всегда можно было видеть новых людей.

О чем были суждения, речи, прения? «Решительно обо всем»—вспоминает один из участников пятниц Петрашевского:

каждый сообщал свои личные сведения и взгляды на науку, которой он непосредственно занимался; перевес брали, без сомнения, науки общественные, идеи были, в огромном большинстве случаев, не одних фурьеристов, коммунистов, утопистов или конституционалистов, а вообще всех социалистов, рассматриваемых каждым лицом сравнительно и с своей личной точки зрения,—кто во что веровал, тот то и доказывал. Большого согласия никогда не было; общая точка соприкосновения—одна короткость или дружба или удовольствие нового, приятного знакомства. То Баласогло вооружался против семейственности и всех ее условий, то Петрашевский говорил о преимуществах публичного производства суда, Ольдекоп трактовал о магнетизме, защищал против Петрашевского мистицизм».

Правда, здесь не было никакого организованного общества, никаких общих планов действия, не вырабатывалось никогда определенных проектов или заговоров, но зато, или вырывались восклицания вроде следующих: «Отечество мое в цепях, отечество мое в рабстве, религия, невежество, спутники деспотизма затемнили, заглушили твои натуральные влечения; отечество мое... где твое общинное устройство, где ты, народная вольница, великий государь Новгород?». Или декламировались стихи, подобные переводу Дурова из Барбье:

«От горести я вяну, потому,
Что край родной мне сделался противным...
. . . .
Друг, наша жизнь—прогоркнувший лимон,
Которого ничто не усладит. Мы, дети
Прекрасные прекраснейшей земли,
Но, как волы, осуждены судьбою
Нести ярмо тяжелого рабства».

Или иногда звучали более серьезные речи:

«Так как порядок установленный противоречит главному основному назначению человеческой жизни, как и всякой другой, то он непременно рано или поздно прекратится, и вместо него будет новый, новый и новый. Когда? Вот это важный вопрос, и мы можем только отвечать, что скоро. Уже тот факт, что мы сознаем недостатки, ошибки в устройстве нашей жизни, и уже представляется нам в общих чертах новая жизнь,—этот самый факт доказывает, что началось время его разрушения. И рухнет и развалится все это дряхлое, громадное вековое

здание и многих задавит оно при разрушении и из нас, но жизнь оживет, и люди будут жить богато, раздольно и весело».

«Мы живем в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом, скопище, разрозненном все семействами, которые вредят друг другу, теряют время и силу и обедняются в бесполезных трудах. И там, за столицею, ползут города, единственная цель, высочайшее счастие для них сделаться многолюдным, развратным, больным, чудовищным, как столица!».

«Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий и всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама «превратить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами, разукрасить в цветах—вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране начнем преобразование, а кончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий!».

Конечно, и эти речи, и эти восклицания, и цитирование Барбье, и чтение письма Белинского Гоголю, не могли служить примером для подражания, они ясно свидетельствовали о вольном духе, о стремлении проявить свою индивидуальность, не дать заглохнуть огоньку Божиему в душе человеческой. Но даже две особые николаевские комиссии, рассмотревшие дело Петрашевского, после пятимесячной работы должны были представить заключение, что все это дело отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие вначале придали ему городские слухи, обыкновенно все преувеличивающие—это был (по мнению членов следственной комиссии) заговор идей, а этим и об'яснялась трудность дальнейших раскрытий: ибо если можно обнаруживать факты, то как же уличать в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действие?

Тем не менее, генерал-аудитор нашел Петрашевского и его единомышленников виновными в государственном преступлении, и 21 человек были приговорены к смертной казни, которая была заменена и каторгой и арестантскими ротами и ссылкой.

Петрашевский был тотчас отправлен в Сибирь, где в селе Бельском, Ешенского округа, умер в крайней бедности 7-го.

декабря 1866 года и был похоронен на средства волостного правления...

Вот что можно и должно вспомнить, стоя и в настоящее время из Покровской площади, против того пустыря, на котором помещался когда-то деревянный домик Петрашевского. Желательно сейчас же отметить этот участок прибитием мраморной доски с лаконическою надписью:

«Здесь были пятницы Петрашевского».

А впоследствии хорошо было бы создать на нем какое-нибудь учреждение, посвященное памяти Петрашевского,— напр., музей социальных наук: ведь, на пятницах Петрашевского было положено начало созданию русского социализма...

Окончив воспоминания о Петрашевском, мы, прежде чем покинуть Покровскую площадь, должны обратить внимание еще на один дом, помещающийся тут же на площади. наискосок против большого дома Петрашевского, в настоящее время имеющий № 114, (Планшет I, № 2). Ни в художественном, ни в архитектурном отношениях дом этот не представляет никакого интереса—обычный тип доходного дома Петербурга, при постройке которого руководствуются правилом: выгадать каждый кусок места, устроить дом так, чтобы можно было набить максимум жильцов.

В 1883 году небольшая квартирка верхнего этажа этого дома (окна квартиры выходили и на Покровскую площадь, и на Большую Садовую улицу; это обстоятельство, должно заметить, не случайно, — наоборот, квартира выбиралась с таким расчетом, чтобы из ее окон можно было видеть как можно дальше и больше) была снята молоденькою акушеркою, только что сошедшей с школьной скамьи, Татьяною Голубевой. Заработок у начинающей акушерки был незначителен, и она подкармливала себя сдачею комнат в своей квартире. В конце октября этого года у акушерки поселились двое жильцов, молодые люди. Жили они скромно, тихо, ни в каких «художествах» местными дворниками и стоявшим на углу городовым не замечались.

И вдруг, после 16 декабря 1883 года, и сама квартирная хозяйка, и ее жильцы бесследно, не предупреждая ни управляющего, ни старшего дворника, исчезли, точно канули в воду. А когда начальство стало проверять прописанные доку-

менты, то оказалось, что и акушерка, и ее жильцы, жили по подложным паспортам.

А 16 декабря 1883 года было совершено убийство подполковника жандармского корпуса Судейкина.

«Георгий Порфирьевич Судейкин,—читаем мы в статье «В мире запустения и мерзости», помещенной в № 2 «Вестника Народной Воли» за 1884 год—был типичным порождением и представителем того политического и общественного разврата, который раз'едает Россию под гнойным покровом самодержавия. Это не был какой-нибудь убежденный фанатик реакционной идеи, с ожесточением преследующий ее врагов,—в Судейкине, напротив, вовсе не замечалось никакого ожесточения против революционеров: он был просто глубокий эгоист, не стесняемый в своих стремлениях к карьере ни убеждениями, ни какими бы то ни было соображениями гуманности. Убеждений он не имел, а к человеческому страданию, счастию или несчастию относился с полным безразличием. Он не был положительно зол, вид страдания не доставлял ему удовольствия, но он с безусловно легким сердцем мог жертвовать чужим счастием, чужою жизнью—для малейшей собственной выгоды или удобства.

Отношения Судейкина к верхним правительственным сферам вообще не отличались особенным дружелюбием. Он и пугал их и внушал им отвращение. Судейкин—плебей: он происхождения дворянского, но из семьи бедной, совершенно захудалой. Образование получил самое скудное, а воспитание и того хуже. Его невежество, не прикрытое никаким светским лоском, его казарменные манеры, самый, наконец, род службы, на которой он прославился,—все шокировало верхние сферы и заставляло их с отвращением отталкивать от себя мысль, что этот человек может когда-нибудь сделаться особой. А между тем, такая перспектива казалась неизбежною. В сравнении с массою наших государственных людей, Судейкин производил впечатление блестящего таланта. Мужи совета и дела сами это прекрасно чувствовали и начинали все больше тревожиться за свои портфели, за свое влияние на царя и на дела. Отвращение и страх создавали, таким образом, постоянную оппозицию против Судейкина. Его старались держать в черном теле. Он же, с своей стороны, глубочайшим образом презирал всех этих мужей совета и в своих честолюбивых стремлениях не

считал для себя слишком высоким какое бы то ни было общественное положение. Ему, которого не хотели выпустить из роли сыщика, постоянно мерещился портфель министра внутренних дел, роль всероссийского диктатора, держащего в своих ежовых рукавицах бездарного и слабого царя. Разлад между радужною мечтою и серенькою действительностью оказывался слишком резок. Судейкин всеми силами старался разрушить такой «узкий» взгляд на себя и постоянно добивался свидания с царем. Министр внутренних дел Толстой употреблял, напротив, все усилия не допустить его до этого, и действительно—Судейкин во всю жизнь так и не успел получить у царя ни одной аудиенции, не был даже ему ни разу представлен. Толстой на этот счет человек ловкий и на своем поставить сумеет. Судейкин из себя выходил, но ничего не мог сделать, постоянно наталкиваясь на невидимую руку, оттиравшую его от царя.

«Если бы мне увидать государя хоть один раз,— говорил он с досадой,—я бы сумел показать себя, я бы сумел его привязать к себе». И Судейкин ненавидел графа Толстого всеми силами души. В общей сложности, Судейкин напрасно рвался на дорогу государственного деятеля. Его постоянно держали в узде и обходили даже наградами. Он получал ордена, получил даже аренду, но его упорно не допускали до чинов, т. е. до самого главного, чего он добивался. Это, конечно, было самое действительное средство благовидным образом загораживать выскочке путь к высоким должностям, и Судейкин за пять лет службы, полной блестящих успехов, мог возвыситься из капитанов всего только в подполковники. Он ждал производства в полковники, хотя бы после коронации, во время которой за ним все-таки ухаживали. Боязнь допустить повышение Судейкина оказалась, однако, более сильною, чем опасение его раздразнить. Спаситель России получил всего-на-всего Владимира 4-й степени и, разумеется, буквально взбесился. Под влиянием таких то столкновений у Судейкина рождаются планы, достойные действительно времен семибоярщины или бироновщины. Его упорно преследовала соблазнительная мечта, которую он весь последний год жизни лелеял, как Валенштейн свой план измены, не решаясь приступить к осуществлению этих дерзких замыслов, но не решаясь и расстаться с ними. Он думал поручить

Дегаеву (речь о нем будет ниже) под рукой сформировать отряд террористов, совершенно законспирированный от тайной полиции; сам же хотел затем к чему-нибудь придраться и выйти в отставку. Немедленно по удалении Судейкина Дегаев должен был начать решительные действия: убить графа Толстого, великого князя Владимира, совершить еще несколько более мелких террористических актов. При таком возрождении террора ужас должен был охватить царя; необходимость Судейкина, при удалении которого революционеры немедленно подняли голову—должна была стать очевидной, и к нему обязательно должны были обратиться, как к единственному спасителю. И тут уже Судейкин мог запросить, чего душе угодно, тем более, что со смертью Толстого сходит со сцены единственный способный человек, а место министра внутренних дел остается вакантным... Таковы были интимные мечты Судейкина. Его фантазия рисовала ему далее, как при исполнении этого плана Дегаев, в свою очередь, делается популярнейшим человеком в среде революционеров, попадает в Исполнительный Комитет или организует новый центр революционной партии, и тогда они вдвоем—Судейкин и Дегаев—составят некоторое тайное, но единственно реальное правительство, заправляющее одновременно делами надпольной и подпольной России: цари, министры, революционеры—все будет в их распоряжении, все повезут их на своих плечах к какому-то туманно-ослепительному будущему, которое Судейкин, может быть, даже наедине с самим собою не смел рисовать в сколько-нибудь определенных очертаниях».

Такова характеристика того агента тайной полиции, который после 1 марта 1881 года сумел в очень короткий промежуток времени нанести бесконечно тяжелые удары партии «Народной Воли», вырвав из ее рядов таких энергичных борцов, как, например, Вера Фигнер.

В его убийстве был заподозрен Сергей Петрович Дегаев, сперва один из видных деятелей партии «Народной Воли», а впоследствии—сотрудник, помогавший ему в его ликвидационных стремлениях по отношению к «Народной Воле».

Дегаев исчез так же бесследно, как и таинственные жильцы дома № 114 по Большой Садовой, на углу Покровской площади, и скоро по всему Петербургу и по всей России были расклеены об'явления с восемью портретами Дегаева в шапке и

без шапки, в усах, бороде и бритый, причем в об'явлении обещалась награда в 5 т. р. за сообщение «полиции сведений, которые, дав возможность определить местонахождение Дегаева, поведут к его задержанию, а 10.000 р. будут выданы тому, кто, указав полиции местопребывание Дегаева, окажет содействие к задержанию преступника».

Очевидно, между жильцами дома № 114, Дегаевым—на его квартире и был убит Судейкин—и убийством Судейкина существовала связь. Третье отделение очень скоро и установило эту связь.

3 января 1884 года, в Киеве, с подложным паспортом на имя Бориса Ростицкого, был арестован дворянин Василий Конашевич, а 16 марта того же года в Москве задержан, с документом Мелитопольской городской управы на имя почетного гражданина Дмитрия Пухальского, сын священника Николай Петрович Стародворский. Оба эти лица были признаны—а потом и сами в этом сознались—за жильцов у акушерки Татьяны Голубевой. Последняя, конечно, была тоже не Голубева, а Раиса Кранцфельд.

Дегаевщина—одно из первых наиболее ярких проявлений ставшего столь обычным в наши дни провокаторства, а Дегаев может быть назван духовным отцом и Азефа, и ряда других печальных деятелей русской действительности.

«Арестованный в Одессе, в декабре 1882 года, чувствуя себя скомпрометированным самым серьезным образом, устрашенный открывшейся перед ним перспективой личной гибели, малодушно смешивая, под влиянием тюремных иллюзий и своего слабого характера, свою собственную гибель и бессилие с гибелью и бессилием самого дела и партии и суеверно представляя себе схватившую его полицию Судейкина какою-то всемогущею, вездесущею силою, Дегаев решился на такой план действий, который не только спасал его от каторги, но открывал перед ним, по его мнению, заманчивую перспективу блестящей политической роли. А именно, находясь в этом состоянии духовного помрачения и нравственного падения и отрезанный от нравственной поддержки более сильных и благородных товарищей, он задумал купить признательность и доверие правительства ценою выдачи ему своих вчерашних друзей и его злейших врагов, с тем, чтобы впоследствии, зару-

чившись полным доверием самодержавной власти, нанести ей при случае решительный удар».

Так характеризовал Дегаева Лев Тихомиров. Конечно, Дегаеву не удался его план. Выдать главнейших участников, последних могикан партии Народной Воли ему пришлось, но нанести удар правительству—он вскоре понял сам—представлялось безнадежным делом. «И вот, подавленный сознанием своего преступного самообольщения — продолжаем выдержку из статьи Тихомирова, впоследствии ставшего редактором «Московских Ведомостей», а в то время редактора и главной литературной силы «Народной Воли»—невольно поддаваясь влиянию окружавшей его нравственной атмосферы, мучимый угрызениями совести, отчаявшись в возможности для себя не только блестящей, но и какой бы то ни было карьеры, удерживаемый правительством в незавидной роли полицейской ищейки, постоянно опасаясь обнаружения своей позорной тайны и утомленный вечной борьбой с вечно возникавшими против него подозрениями, он решился напоследок открыться Исполнительному Комитету, предоставив этому последнему или подвергнуть его заслуженной казни, или дозволить ему искупить хотя бы до некоторой степени свое преступление какою-нибудь услугою делу партии».

Исполнительный Комитет «Народной Воли» даровал ему жизнь, обязав его убить Судейкина. Своими помощниками,—конечно, с их согласия,—Дегаев выбрал Конашевича и Стародворского. На квартире последних происходили совещания и выработка плана убийства, хранилось первое время после покупки и оружие для убийства: 2 железные лома, а когда убийство было совершено (зловещая картина его будет восстановлена, когда мы дойдем до Гончарной), то Стародворский вернулся к себе домой и с помощью Кранцфельд отпечатал прокламацию от имени «Народной Воли» о суде над жандармом Судейкиным.

На другой день, 17 декабря 1883 года, на квартиру Голубевой явился Степан Антонович Росси и унес типографский шрифт, а несколько позднее—Герман Лопатин, взявший отпечатанные прокламации.

Затем Кранцфельд уехала в Саратов, Стародворский в Москву—но вскоре, как было видно из вышеприведенных

дат, и они были «ликвидированы», т.-е. арестованы и приговорены к смертной казни, которая «всемилостивейше» была заменена пожизненной каторгой. Но каторга для политических того времени означала одиночное заключение в Шлиссельбурге. Конашевич не выдержал его, сошел с ума, а Стародворский дождался амнистии после 17 октября 1905 года.

Таким образом, в доме № 114 была одна из конспиративных квартир, столь необходимых для революционеров восьмидесятых годов прошлого столетия. Желательно, конечно, и ее увековечить соответствующей надписью.

Идя по Садовой улице по направлению к Невскому проспекту, надо обратить внимание на небольшой угловой домик, выходящий на Садовую улицу и Никольский канал.

Этот домик имеет за собою почтенную давность: он был построен в конце XVIII столетия и является чуть ли не одной из первых построек в этой местности (планшет I, № 3). Надо помнить, что здесь было огромное болото, и нынешняя широкая, чистая Могилевская улица звалась Грязной: и весною, и осенью она была непроходима. И только тогда, когда, по повелению Екатерины II, был прорыт Никольский канал (и этот канал, и улицы ясны на приложенном планшете I), началось и осушение и застройка этой части Коломны, и одним из первых появился вышеуказанный трех-этажный домик, теперь носящий № 69. В екатерининское время на набережной Екатерининского канала против этого домика росло несколько старых - престарых дубов, а в самом домике жил литератор—издатель первого русского исторического журнала Осип Туманский. В высокотрагические дни конца 1880 года, когда уже назревал эпилог борьбы «Народной Воли» с самодержавным царем, в этом домике была конспиративная квартира, хозяевами которой значились Григорий Прокофьевич Исаев и Фердинанд Осипович Люстиг, и сюда-то в декабре 1880 г. Рысаков доставил с Николаевского вокзала типографский станок, присланный из провинции. Народовольцам в то время очень нужно было сорганизовать свою новую типографию, и до подыскания надежного места станок и был водворен на конспиративную квартиру.

Дойдя по Садовой улице до Большой Под'яческой, повернем направо и по правой же стороне Под'яческой оты-

щем дом № 37. Этот дом сквозной, он выходит и на Никольский переулок (планшет I, № 4). По неопрятной, темноватой лестнице с Под'яческой улицы поднимемся в четвертый этаж — тут помещается небольшая квартира, состоящая из четырех маленьких комнат. Окна трех из них выходят во двор, окно четвертой комнаты выходит во внутренний колодезь-просвет, сделанный среди дома. Таким образом, окна этой четвертой комнатки квартиры нельзя увидать ни со двора, ни с улицы; в колодезь-просвет, сделанный в самом массиве дома исключительно для того, чтобы осветить несколько комнат, которые иначе остались бы темными, можно было проникнуть лишь через дворницкую. Такое устройство квартиры удобно было потому, что за окнами комнат, выходивших в просвет, нельзя было установить наблюдения. Эту квартиру, более чем вероятно, подыскал великий конспиратор партии Народной Воли Александр Дмитриевич Михайлов, и в конце 1880 года и в начале 1881 г. в этой комнате находилась динамитная мастерская, и холодно-спокойный, вполне уверенный в себе, в своих силах, в своем знании, Николай Иванович Кибальчич производил столь необходимый для партии динамит.

«Сын священника, уроженец Малороссии, Кролевецкого уезда Черниговской губернии, Кибальчич получил первоначальное образование в новгород-северской духовной семинарии, в 1871 году поступил в Институт Инженеров Путей Сообщения, откуда в 1873 году перешел в Медико-Хирургическую Академию, но курса учения в ней не окончил, так как летом 1875 года был арестован за хранение и распространение брошюр преступного содержания. Эти брошюры Кибальчич распространял в Липовецком уезде Киевской губернии. После трех лет предварительного заключения Кибальчич по суду, за свое преступление, приговрен был к заключению в тюрьме на один месяц, каковой приговор и был приведен в исполнение. «Конечно, если бы не этот арест—так заявил на суде Кибальчич,—если бы не строгие меры властей по отношению к деятелям, ходящим в народ, то я бы ушел в народ и был бы до сих пор там. Цели, которые я ставил, были отчасти культурного характера, отчасти социалистического, а именно— поднять умственный и нравственный уровень массы, развить общинные инстинкты и наклонности, которые существуют

в народе, до социалистических инстинктов и привычек. Я был остановлен арестом. Если бы обстоятельства сложились иначе, если бы власти отнеслись, так сказать, патриархально, что ли, к деятельности партии, то ни крови, ни бунта, конечно, не было бы. Мы все не обвинялись бы теперь в цареубийстве, а были бы среди городского и крестьянского населения. Ту изобретательность, которую я проявил по отношению к метательным снарядам, я, конечно, употребил бы на изучение кустарного производства, на улучшение способа обработки земли, на улучшение земледельческих орудий и т. п. Но, видя обострение борьбы правительства с партией и предвидя, что ей придется прибегать к таким средствам, на которые она раньше не решалась, я решился запастись теми техническими и химическими сведениями, которые для этого нужны. Я прочитал все, что мог достать на русском, французском, немецком и английском языках, касающееся литературы взрывчатых веществ, стараясь итти, так сказать, au courant науки по данному вопросу, и все время, когда велась эта борьба, пока являлась необходимость для партии в технических сведениях, я содействовал в этом отношении партии. Всякий раз—усиленно подчеркивал Кибальчич,—когда являлась надобность приготовлять динамит, я участвовал в этом». В то же время Кибальчич не упускал случая доказать, что при всех покушениях принималось во внимание, чтобы «сфера действия снаряда не оказалась нецелесообразно большою, не захватила лишних жертв». «Я, в числе других социалистов,—воскликнул в своем последнем слове Кибальчич,—признаю право каждого на жизнь, свободу, благосостояние и развитие всех нравственных и умственных сил человеческой природы. С этой точки зрения, лишение жизни человека—и не с этой только, но и вообще с человеческой точки зрения—является вещью ужасной»... И русская жестокая действительность, несмотря на эти взгляды, это убеждение, заставила Кибальчича выдумать такой механизм взрывчатого снаряда, который обеспечивал возможность взрыва при всех направлениях падения снаряда, добиться такого способа выделки гремучего студня, который был бы вполне безопасен и позволял бы в обыкновенной комнатной обстановке, почти без лабораторных принадлежностей, производить тот гремучий студень, о

котором ученый эксперт высказывал уверенность, что он заграничного происхождения.

Описанную нами квартиру для динамитной мастерской полиция открыла post factum, когда жильцы из нее выехали, и, обеспокоенная долгим отсутствием хозяев, домовая администрация принесла повинную в местный участок, благо он помещался чуть-ли не рядышком, тут же по Садовой улице...

По той же Под'ческой улице выйдем на Екатерининский канал, где на углу малой Под'яческой улицы возвышается ныне громадный 7-этажный небоскреб, а в 80-х годах прошлого столетия был более скромный дом, в котором помещались меблированные комнаты некоей Штуцер. В 1878 году здесь жили Адриан Михайлов и Александр Баранников (Планшет II, № 5).

В январе 1878 года в эти меблированные комнаты заехал с вокзала железной дороги молодой человек. В пред'явленном документе он значился дворянином Тюриковым. Сняв одну из комнат, Тюриков заявил хозяйке, что он ждет товарища, с которым и будет жить. Действительно, спустя некоторое время прибыл неизвестный человек в полушубке и отдал для прописки паспорт на имя дворянина Поплавского. На другой день прибывший унес свой полушубок неизвестно, куда и стал ходить в пальто, а через месяц, в феврале, Тюриков и Поплавский оставили квартиру, причем первый пояснил, что получил место в Новгороде, куда предполагает пристроить и Поплавского.

Конечно, документы Тюрикова и Поплавского оказались подложными, под ними скрывались видные деятели русской революции: под фамилией Поплавского—Адриан Михайлов, под фамилией Тюрикова—Александр Баранников.

Адриан Михайлов судился по делу Веймара, и главное обвинение, выдвинутое против него—участие, как кучера пролетки, увезшей Кравчинского-Степняка, после убийства Мезенцева. За это преступление суд приговорил его к смертной казни, «всемилостивейше» замененной каторгой, не обращенной, положим, как для всех народовольцев, в заключение в Шлиссельбурге. Каторгу Адриан Федорович Михайлов—его нельзя смешивать с Александром Дмитриевичем Михайловым, умершим в Шлиссельбурге,—отбывал в Акатуе и на Каре, втечение 21 года. После этого А. Ф. Михайлов был выпу-

щен на поселение и жил 4 года в Чите; после революции 1905 года он переехал в Одессу, от которой, по списку социалистов-революционеров, прошел членом в Учредительное Собрание. В каторге политические ссыльные прозвали Михайлова за его исключительные знания и память «ходячею энциклопедиею». За свои высокие моральные качества Михайлов пользовался большим уважением среди революционеров.

Александр Баранников—дворянин Курской губернии. По окончании курса в Орловской Бахтина военной гимназии, поступил в 1-е военное Павловское училище, которое оставил в 1876 году. В следующем 1877 году, решившись заняться революционной пропагандой среди народа, он появился, под именем Семена Яковлева, в селе Хрипунове Ардатовского уезда Нижегородской губернии, в кузнице, открытой там для пропаганды дворянином Линевым, проживавшим под именем американского гражданина Филипса. Началось, конечно, дознание. Баранников перешел на нелегальное положение, принимал участие в убийстве Мезенцева и судился в процессе 20 народовольцев вместе со своим другом и приятелем Александром Михайловым. Бессрочные каторжные работы были заменены для него заключением сперва в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а потом в Шлиссельбурге, где Баранников не смог вынести заключения и умер. На суде он обращал на себя внимание: слова его дышали такою правдивостью, что казалось дерзостью усомниться в них, как заметил впоследствии один из современников. Он просто об'яснял свою роль, говорил, что делал и чего не делал, и все это так убедительно, что только изолгавшийся человек мог бы потребовать доказательств. На вопросы же, могущие служить против других, он прямо отказывался отвечать.

Адриан Михайлов и Александр Баранников поселились в только что указанном доме, в меблированных комнатах Штуцер, для связи с помещавшимся недалеко отсюда в Новом переулке «Русским Татерсалем».

Но прежде чем вспомнить этот Татерсаль, необходимо по дороге к нему сбратить внимание на угловой дом на Екатерининском канале и Вознесенском проспекте (Планшет II, № 6). В этом угловом доме с февраля 1881 года по день ареста, 1 апреля того же года, по подложному паспорту на имя губернского секретаря Кохановского с женою, проживал Григо-

рий Прокофьевич Исаев с ныне здравствующей Верою Николаевною Фигнер.

Уроженец города Могилева, Исаев в 1875 году за распространение запрещенных изданий среди своих товарищей был исключен из пятого класса местной гимназии с правом поступления в другие учебные заведения. По окончании гимназического курса Исаев поступил сначала в С.-Петербургский Университет, затем перешел в Медико-Хирургическую Академию. В 1877 году, во время нахождения его в Горецком уезде Могилевской губернии, на него пало обвинение в преступной пропаганде, вследствие чего он подлежал привлечению к ответственности, но скрылся, перейдя на нелегальное положение. И с этих пор начинается его боевая жизнь. Приготовление динамита для несостоявшегося покушения в Одессе стоило Григорию Исаеву трех пальцев, оторванных взрывом при производстве каких-то опытов; далее, деятельная, самая энергичная работа при подкопе в Москве, поездка на день в город Александровск с проволокою для мины; в Александровске при Исаеве были заложены под полотно железной дороги проволоки и один из цилиндров с динамитом; затем, он же, Исаев, приготовлял динамит и запалы, употребленные при взрыве 5 февраля 1880 года в Зимнем дворце; наконец, в только что упомянутой его последней квартире—полиция обнаружила ее только 3 апреля, после того, как Вера Николаевна Фигнер успела скрыться—происходили главные работы по изготовлению и снаряжению разрывных снарядов 1 марта. Отсюда София Перовская отвезла их на Тележную улицу.

При аресте у Исаева были найдены рукописи: «Подготовительная работа партий», трактующая о средствах подготовления в России всеобщего восстания, и «Проект организации революционных кружков». Шлиссельбург стал могилою и для Исаева.

Пройдя мимо этой квартиры, перейдя через мост Екатерининского канала по Вознесенскому проспекту, дойдем до былого Мариинского дворца и, обойдя последний по Мариинской площади, попадем в Новый переулок, (он когда-то звался Демидов). На левой стороне его второй дом от Мойки, под № 4, (планшет II, № 7), занят был последнее время учреждениями министерства земледелия, а в 1788 году здесь был заведен

«Русский Татерсаль», т.-е., простой манеж, куда можно было ставить лошадей, и где можно было обучаться верховой езде.

В октябре 1878 года в этом Татерсале были отысканы вороная лошадь «Варвар», дрожки на лежачих рессорах и кучерское платье, и было установлено, что лошадь принадлежала дворянину Тюрикову, т.-е., Александру Баранникову, а часто, чуть ли не ежедневно, летом и в августе 1878 года, приходивший ее закладывать и уезжавший куда-то кучер был Адриан Михайлов.

Вот почему Баранников и Михайлов поселились в меблированных комнатах Штуцера.

Знаменитого «рысака русской революции», «Варвара», нельзя не знать: это был кровный Хреновского завода рысак, 4 вершков, с гривой на правую сторону и небольшою, едва заметною белою звездочкою на лбу. Недаром была у «Варвара» такая знаменательная отметка—звездочка—эмблема удачи: с «Варваром» связаны действительно удачные дела русской революционной партии.

Принадлежал «Варвар» одному из конских охотников Петербурга, бегал на призы и брал первые из них. Затем его купил некто Петров, желавший ездить на паре, но «Варвар» не подошел к паре, и раздосадованный любитель езды поручил своему дворнику продать «Варвара» за бесценок. Покупатель нашелся в лице владельца большого дома на Невском проспекте под № 10 (см. планшет XIII, № 66), доктора Ореста Эдуардовича Веймара, имевшего свою больницу, пользовавшегося завидною репутациею в петербургском обществе,—грудь доктора украшали три ордена: св. Станислава, Анны и Владимира с мечами, полученные им на полях сражения во время Турецкой кампании 1877—78 года, куда доктор Веймар пошел добровольцем и где проявил себя героем. Высокого роста, с окладистою бородою, красивый, видный мужчина, он производил сильное впечатление, и его арест и обвинение в принадлежности к террористам, как громовой удар, поразило общество того времени. А ставились Оресту Веймару в вину—приобретение «Варвара» для устройства побегов арестованных, приобретение револьвера, из которого Александр Соловьев стрелял в Александра II, и, наконец, денежная поддержка и сношения с революционерами.

После отбытия каторги, на поселении, доктор Веймар скончался от жестокой чахотки, а приобретенный им его любимый «Варвар» неизповедимыми путями перешел в ведение С.-Петербургской полиции и стал возить самого господина помощника обер-полицеймейстера.

Один из выдающихся подвигов «Варвара»—совершенное помощью его бегство князя Кропоткина (об участии «Варвара» в деле убийства Мезенцева будет рассказано ниже)—произошел следующим образом. «К концу второго года заключения,—писал в своих «Записках революционера» князь Кропоткин,—здоровье мое пошатнулось... Из Сибири я вывез слабые признаки цынги, теперь в темном и сыром каземате они проявились более определенно. Этот тюремный бич сразил меня... Мне разрешили получать пищу из дому, так как недалеко отсюда жила одна моя свояченица, вышедшая замуж за адвоката. Но мое пищеварение стало так плохо, что я с'едал в день только кусок хлеба, да одно или два яйца. Силы мои быстро падали, и, по общему мнению, мне оставалось жить только несколько месяцев. Чтобы подняться до моей камеры, находившейся во втором этаже, я должен был раза два отдыхать на лестнице. Помню, как-то раз старый солдат-часовой жалостливо заметил: «тебе, сердешному, не дожить до осени».

Родственники мои сильно встревожились. Сестра Лена пробовала хлопотать, чтобы меня выпустили на поруки, но прокурор Шубан ответил ей с сардонической усмешкою: «доставьте свидетельство от врача, что брат ваш умрет через десять дней; тогда я его освобожу». Прокурор имел удовольствие видеть, как сестра упала в кресло и громко разрыдалась в его присутствии. Она добилась однако же того, чтобы меня осмотрел хороший доктор, старший врач Николаевского военного госпиталя осмотрев меня тщательным образом, он пришел к заключению, что у меня нет никакой органической болезни, но что страдаю я, главным образом, от недостаточного окисления крови.

«Все, что вам нужно, это—воздух, заключил он. Он колебался несколько минут, затем сказал решительно: «что там толковать! Вы не можете оставаться здесь. Вас необходимо перевести».

Дней через десять после этого меня действительно перевели в находящийся на окраине Петербурга военный госпи-

таль, при котором имеется небольшая тюрьма для офицеров и солдат, заболевших во время нахождения под следствием. В госпитале,—писал Кропоткин,—я начал быстро поправляться, и сейчас же стали возникать планы бегства, планы один другого фантастичнее... И все же побег состоялся». Вот как описал его сам Кропоткин:

«Я вышел на прогулку, по обыкновению, в четыре часа и подал свой сигнал. Я услышал сейчас же стук колес экипажа, и из находившейся напротив серенькой дачки (снятой друзьями Кропоткина), донеслись звуки скрипки (означавшие, что улица свободна). Но я был в то время у другого конца здания. Когда же я вернулся по тропинке к тому концу, который был поближе к воротам, шагах в ста от них, часовой стоял совсем у меня за спиною. «Пройду еще раз!», подумал я. Но прежде чем я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались.

Прошло более четверти часа в томительной тревоге, прежде чем я понял причину перерыва: в ворота в'ехало несколько тяжело нагруженных дровами возов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач (и очень хороший, должен сказать) заиграл бешеную и подмывающую мазурку Гонтского, как бы желая внушить: «теперь смелей! твое время,—пора!». Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться прежде, чем я дойду до конца.

Когда я достиг его, то оглянулся. Часовой остановился в 5 или 6 шагах за мной и смотрел в другую сторону. «Теперь или никогда!»—помню я—сверкнуло у меня в голове. Я сбросил зеленый фланелевый халат и пустился бежать. Не очень то доверяя своим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. Но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце двора, заголосили: «бежит! держи его! лови его!»—и кинулись мне наперерез к воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Прежде меня часто беспокоила выбоина, которую возы вырыли у самых ворот, теперь я забыл ее.—Бежать, бежать! насколько хватит сил.

Друзья мои, следившие за всем из окна серенького домика, рассказывали мне потом, что за мной погнались часовой и три солдата, сидевшие на крылечке тюрьмы. Несколько раз часо-

вой пробовал ударить меня сзади штыком, бросая вперед руку с ружьем. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонит меня. Но я удержал расстояние, и, добежавши до ворот, солдат остановился.

Выскочив за ворота, я, к ужасу моему, заметил, что в пролетке сидит какой-то штатский, в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне. «Пропало дело!—мелькнуло у меня. Товарищи сообщали мне в последнем письме: «раз вы будете на улице, не сдавайтесь; вблизи будут друзья, чтобы отбить вас»; и я вовсе не желал вскочить в пролетку, если там сидит враг. Однако, когда я подбежал, я заметил, что сидевший в пролетке человек со светлыми бакенбардами очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку; но мы были близкими друзьями, и не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся неимоверной в минуты опасности.

С какой стати он здесь?—подумал я.—Возможно ли это?

Я едва не вскрикнул имени; но во-время спохватился и, вместо того, захлопал на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову. Теперь я узнал, кто он.

Сюда, скорее, скорее! крикнул он, отчаянно ругая, на чем свет стоит, и меня, и кучера и держа в то же время наготове револьвер. «Гони! гони! убью тебя!», кричал он кучеру. Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом. Сзади слышались вопли: «держи его, лови!»; а друг, в это время, помогал мне надеть пальто и цилиндр. Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, как со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя, почти напротив того места, где стояла пролетка. Он мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить коня, для чего достаточно было бы солдату забежать несколько шагов вперед. Поэтому одного из моих приятелей командировали, чтобы отвлечь беседой внимание солдата. Он выполнил это с большим успехом. Солдат одно время служил в госпитальной лаборатории; поэтому приятель завел разговор на ученые темы, именно, о микроскопе и о чудесах, которые можно видеть по-

средством его. Речь зашла о некоем паразите человеческого тела.

— Видел ли ты, какой большущий хвост у ней?—спросил приятель.

— Откуда у ней хвост?—возражал солдат.

— Да как же! Во—какой под микроскопом.

— Не ври сказок!—ответил солдат: я то лучше знаю. Я ее, подлую, первым делом под микроскоп сунул.

Научный спор происходил как раз в то время, когда я пробегал мимо них и вскакивал в пролетку. Оно похоже на сказку; но, между тем, так было в действительности.

Экипаж круто повернул в узкий переулок, вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова, и где теперь никого не было, так как все погнались за мною. Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выровнялась только тогда, когда я навалился во внутрь и потянул за собою приятеля. Лошадь бежала теперь крупной, красивою рысью, и мы повернули налево. Два жандарма, стоявшие у дверей питейного, отдали честь военной фуражке моего друга. «Тише, тише!—говорил я ему, так как он был все еще страшно возбужден. Все идет отлично. Жандармы даже отдают тебе честь!». Тут кучер обернулся ко мне, и в сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля.

Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на Невский проспект, повернули в боковую улицу и остановились у одного под'езда, где и отослали экипаж...» *).

От места былого Татерсаля, где отдыхал от своих бешеных скачек знаменитый «Варвар», по Новому переулку выйдем на нынешнюю Казанскую улицу, прежде носившую название «Большая Мещанская». На ней следует отметить два дома. Первый, почти против Нового переулка, дом № 38; здесь была

*) Считаем нужным оговориться. Предназначая нашу книжку для широкой публики, мы сознательно не загромождали текста ссылками на источники пользования; к тому же, большинство выдержек—обвинительные акты, сообщения газет того времени; но громадная часть наших выдержек отмечена нами ковычками. Кроме того, надо заметить, что мы вообще избегали пересказа, полагая что цитата и более удачна, и более рельефна.

квартира Фриденсона, который и был тут же задержан 25-го января 1881 г., под фамилиею Агаческулов (планшет II, № 8).

Фриденсон—один из главных героев покушения на кражу, как говорили в то время, из Кишеневского казначейства; на недавнем жаргоне такое деяние называлось «экспроприациею».

«В декабре 1880 года в городе Кишиневе, по Варфоломеевскому переулку, во дворе швейцарской гостиницы, во флигеле, рядом с «губернским казначейством, поселились неизвестные мужчина и женщина, под именем супругов Мироненко. Вскоре по приезде, они своею крайне уединенною жизнью обратили на себя внимание полиции, а после того, как паспорта их были подробно осмотрены, они немедленно, в январе 1881 года, выехали из Кишинева, несмотря на то, что квартира была нанята ими на год. Впоследствии обнаружилось, что в одной из комнат квартиры Мироненко был прорезан пол, и в образовавшемся отверстии в 1½ аршина длины и ¾ аршина ширины начат подкоп под казначейство...»

Мироненко скрылись от полиции. Но провокатор Василий Меркулов раз'яснил государственной полиции, что под четою Мироненко скрывались: Григорий Михайлович Фриденсон—белостокский купеческий сын, по окончании курса в белостокском реальном училище бывший вольнослушателем в Московском техническом училище и оттуда уволенный вследствие привлечения его к дознанию, возникшему в Москве, по поводу убийства мещ. Рейнштейна—и Татьяна Ивановна Лебедева, дочь коллежского советника, уроженка гор. Богородска, Московской губ., окончившая курс науки в Московском Николаевском Институте, осужденная по делу о преступной пропаганде в империи, по так называемому большому процессу 193.

Второй дом на Казанской, на углу Столярного переулка, № 48/1 (планшет II, № 9). Здесь были меблированные комнаты, в которых на короткое время останавливался Сергей Иванович Мартиновский, судившийся по процессу 16-ти.

По Столярному переулку выйдем на набережную Екатерининского кан., по которой и пойдем на Казанскую площадь,—на ту площадь, на которой произошла первая публичная демонстрация в Петербурге, организованная Плехановым. Идя по этой площади, мы минуем один из мостов Екатерининского канала, так называемый Каменный мост (планшет II, № 10). Этот мост должен был быть взорван во время одного из проездов

Александра II. Взрыв не удался, и о подготовке его, конечно, не узнали бы, если бы не услужливый язык того же Меркулова. А дело происходило следующим образом—так оно записано в обвинительном акте процесса 20-ти, со слов Меркулова: «Катаясь однажды в начале лета 1880 года на лодке вместе с Желябовым, Пресняковым, Грачевским, Баранниковым (известным ему в то время под именем Порфирия), Александром Михайловым, именовавшимся тогда Иваном Петровым, и Тетеркой, Меркулов слышал происходивший между этими лицами разговор о предполагавшемся динамитном покушении—взрыве одного из мостов при проезде через него императора Александра II. А когда тот же Меркулов через несколько дней пришел на свидание с Желябовым к Михайловскому саду, то Желябов приехал на лодке вместе с Тетеркой и Баранниковым, причем последний, передавая Меркулову на хранение два железных пятилапных якорька—кошки, указал, что этими кошками только что пытались извлечь динамит из-под моста, но неудачно, так как кошки не захватывали достаточно глубоко.

Один из участников этой неудавшейся попытки, рабочий Макар Тетерка, впоследствии во время суда ударивший по лицу предателя Меркулова, видя, что Меркулов обстоятельно доложил по начальству, и что скрывать не имеет смысла, дополнил показание Меркулова, выяснив, главным образом, свою роль. Он приехал на квартиру около Троицкой улицы и там, спросив «подушку», получил от неизвестного ему человека корзинку, в которой лежала завернутая в рогожу гутаперчевая подушка, весом около 2 пудов, которую он, Тетерка, привез в Петровский парк, где его уже ожидали Желябов и Пресняков. Усевшись втроем в лодку, где уже находилась такая же подушка и проволока, соучастники выехали сначала на взморье, там связали обе подушки веревками, а затем Фонтанкою и Крюковым каналом проехали в Екатерининский, где под Каменным мостом и погрузили подушки в воду, прикрепив конец веревки и проволоки проводников к находившемуся близ моста, выше по течению, плоту, на котором была устроена прачешная. По состоявшемуся между участниками соглашению, взрыв должен был произвести Желябов при содействии Тетерки. В назначенный день и час Тетерка, имея при себе корзинку с картофелем, должен был сойтись с Желябовым у Чернышева моста и отправиться вместе с ним на плот, к которому были прикреплены

проводники, и там, под видом перемывки картофеля, соединить проводники с батареею, которую взялся принести Желябов. В назначенное, однако, время, Тетерка, по неимению часов, не явился своевременно на место свидания. Александр II благополучно «проследовал» через Каменный мост на вокзал и оттуда уехал на южный берег Крыма.

По тщательном исследовании дна Екатерининского канала, под Каменным мостом и близ него, 4 мая и 6 июня 1881 года были обнаружены 4 гутаперчевые подушки, наполненные черным динамитом в количестве около 7 пудов, причем этот динамит, по химическому своему составу, близко подходил к динамиту, вынутому из мины, подведенной под Малую Садовую из лавки Кобозева (об этом смотри ниже), что доказывало, по мнению судебных следователей, единство мастерской, изготовлявшей этот динамит.

Итак, мы на Казанской площади.

Площадь эта сравнительно недавнего происхождения. Нынешний Екатерининский канал—былая речка Кривуши, прозванная так за свое извилистое течение—был прокопан только в царствование императрицы Екатерины II; в петровское время к этой речке на месте нынешней площади подходила березовая роща—и следует предание: Петру Великому полюбилась эта роща, и он ее сделал заповедною. Но к этой роще чуть ли не вплотную подошла «Переведенская слободка», прозванная так потому, что она была населена мастеровыми людьми, переведенными в Петровский парадиз. Эта слободка ютилась приблизительно там, где теперь Казанская улица с ее переулками. Жители этой слободки были «люди озорные» и, конечно, не могли не обратить внимания на соседнюю с слободкою рощу и, несмотря на царское повеление, чтобы роща была заповедной, начались порубки, которые и не скрылись от зоркого взгляда преобразователя России. Вышел грозный царский указ: сделать повальный обыск в Переведенской слободке и тех жителей, у которых найдутся свеже-нарубленные березовые дрова, через десятого повесить в той же березовой роще.

Сделали обыск. Виновные в порубке нашлись чуть ли не в каждом доме,—пришлось готовить много виселиц; но царица Екатерина I сумела смягчить царя, и последний переменил свое решение: вместо того, чтобы повесить, велел тут же, на месте порубки, на свеженьких пнях, нещадно бить батогами.

Таким образом, если предание справедливо, на Казанской площади начали бить народ с первых годов существования Петербурга, когда на месте Казанской площади была веселая, белоствольная березовая рощица. В царствование Анны Иоанновны, в 1733 году, последовало высочайшее повеление—«построить по першпективой дороге, переехав Зеленый мост через Мойку, на правой стороне, церковь».

«Першпективая дорога»—нынешний Невский проспект; «Зеленый мост» теперь именуется «Полицейским»; церковь, законченная постройкою в 1737 г.—первоначальный Казанский собор—по проекту большого русского архитектора Михаила Земцова, была каменная, расположена параллельно Невскому проспекту, между которым и церковью был двухэтажный дом Еропкиных, родственников одного из соучастников Волынского. Громадный дом по набережной Екатерининского канала, нынешнего Зимина переулка, Казанской улицы и площади уже существовал и принадлежал большому петербургскому купцу Зимину—память о нем сохранилась в прозвании переулка. Таким образом, значительная часть нынешней Казанской площади была занята постройками обывателей; на другой части был разбит небольшой церковный сад, обнесенный деревянной решеткою. Церковь постройки Михаила Земцова просуществовала до дней Павла I, когда на ее месте стал возникать существующий и в наши дни Казанский собор. При постройке этого собора по проекту Воронихина и образовали Казанскую площадь. До 1833 года на этой площади, вместо памятников героев 12 года, Кутузова и Барклай-де-Толли, стояла посреди площади, деревянная выкрашенная колонна—обелиск.

Время бежало. Наступали 60-е годы. Произошли знаменитые первые студенческие беспорядки «из-за матрикул» (о них ниже, при описании Васильевского острова), и один из руководителей этих беспорядков хотел воспользоваться площадью Казанского собора (Планшет II, № 11) для студенческой демонстрации; но по каким-то причинам демонстрация не состоялась.

А 6 декабря 1876 года, в понедельник, в тяжелый день, по русскому поверию, в день зимнего Николы, Казанский собор был переполнен молящимися «в числе которых резко отделялись», по словам обвинительного акта, «по своей внешности, поведению и отсутствию благоговения, молодые люди обоего пола, привлеченные, повидимому, в храм, каким-то посторон-

ним молитве побуждением». Большинство из них принадлежало, судя по одежде, к учащейся молодежи—формы хотя в то время не было, но учащаяся молодежь имела резко бросающуюся в глаза принадлежность: «пледы», накинутые на плечи, мягкие с большими полями шляпы, а в руках сучковатые палки; большинство женщин было «стриженных», и многие из них носили темные очки. Эта молодежь стояла, разбившись на кучки, шепталась, переходила с места на место, как будто о чем-то сговаривалась; кто-то из них делал даже пометки в записной книжке.

Дежурный городовой Есипенко, обративший внимание на эту молодежь, уже собирался отправиться с докладом к приставу, но был оттиснут от двери. Толпа высыпала на обширный парапет храма, расположилась живописными группами по гранитным ступеням и замерла в ожидании.

Из этой же толпы выдвинулся высокий блондин. Обнажив голову, возбужденным, повышенным тоном, он начал речь «о гнете правительства, о его несправедливости, о ссылке лучших русских людей, как, например, Чернышевского, о бедственном положении русского мужика, у которого продают за недоимку последнюю коровенку»...

Недолго длилась возбужденная, экзальтированная речь. Раздались громкие крики: «браво, браво!», и из толпы кверху взлетел какой-то красный комок—то был первый революционный флаг с заветною надписью: «Земля и Воля».

Первая демонстрация производилась слишком примитивно. Никто не догадался принести древко для знамени, и, говорит обвинительный акт: «молодые люди подняли и подбрасывали небольшого роста парня в полушубке; парень, взлетая на воздух, держал флаг развернутым в обоих руках»—надпись, таким образом, была видна издалека. А затем толпа сплотилась еще теснее и двинулась от собора по направлению к памятнику Кутузова. Впереди шла молодая женщина, блондинка с распущенными косами, и кричала: «вперед, за мною!».

Но Есипенко уже успел добежать до участка и доложить приставу; последний, пристегивая на-ходу шашку, спешил на место происшествия, куда направлялись и другие полицейские чины; послышались в воздухе свистки; двинулись из толпы добровольцы, и прежде всего дрягили, носильщики, в былое время стоявшие у Казанского моста и понявшие, что

«тут бунтуют; видим—флаг, значит неблагополучно; а тут еще «Земля и Воля».

И под руководством полицейских, носильщики, дворники, извозчики, народ все дюжий и здоровый, начали «наводить порядок»—разгонять толпу, арестовывать зачинщиков.

И произошло нечто диковинное, нечто совершенно непонятное, несуразное с точки зрения полицейской: зачинщики не были выданы толпою беспрекословно, по первому требованию начальства; наоборот, толпа стала защищаться, и «начальству» и «добровольцам» довольно сильно попало. «Мне тоже попало плюхи три, четыре, не знаю, чем били, но только не кулаком, потому что очень чувствительно было»—жаловался один из свидетелей обвинения; другой же герой, чиновник полиции Васильев, бросился в толпу, протискался до говорившего речь и уже наложил на него руку, но в это время получил такой сильный удар, что упал на землю, где его стали бить; одежда его была в беспорядке, часть воротника оторвана. Конечно, выражаясь словами со стороны обвинения—«разумеется и я раза два или три залепил кому-то; с какой стати—меня будут бить, а я буду молчать»,—дело выставлялось, как самозащита, самооборона; но не таковой она была по показанию свидетелей защиты: «его били буквально два часа, били без всякой причины, били ужасно. Он просил оставить, но они продолжали бить. Мы кричали: «господа, перестаньте бить!». Потом его втолкнули в камеру. Он был окровавлен, кровь так и текла по его лицу»...

И в результате отечественные юристы состряпали «дело о преступной демонстрации, бывшей на Казанской площади 6 декабря 1876 года». Дело разбиралось целую неделю, с 18 по 25 января 1878 года; к нему были привлечены 21 человек, из них 4 женщины, среди которых и дочь маиора София Андреевна Иванова, известная впоследствии народоволица, получившая здесь свое боевое крещение.

Обвинитель полагал, что «прибытие обвиняемых в Казанский собор, с целью отслужить панихиду по умершим в доме предварительного заключения политическим арестантам, является действием прямо преднамеренным, в котором усматривается стремление выразить правительству враждебные чувства. Демонстрация была задумана от начала до конца; кроме того, все, что было задумано, приведено и в исполне-

ние, не удалось только распространить беспорядок далее, т.-е. выйти на Невский проспект, одну из оживленнейших улиц С.-Петербурга, и там еще более развить, хотя бы по внешности, движение, долженствовавшее иметь окраску движения рабочего».

Прокурор сам того, не сознавая прекрасно, отметил, подчеркнул суть этой первой российской демонстрации—«движение рабочее». Вот как характеризовал эту демонстрацию организатор ее, Плеханов.

«В то время у всех была в памяти демонстрация, ознаменовавшая весною 1876 г. похороны убитого тюрьмою Чернышева. Она произвела очень сильное впечатление на всю интеллигенцию, и все лето того года мы, что называется, бредили демонстрациями. Но в Чернышевской демонстрации рабочие не принимали участия, так как она произошла в будни, да и подготовители ее как-то не вспомнили о рабочих. И вот, рабочим захотелось сделать *свою* (курсив подлинника) демонстрацию, и притом такую, которая своим резко-революционным характером совершенно затмила бы демонстрацию «интеллигенции». Они, т.-е. рабочие, уверяли нас (т.-е. кружок Плеханова), что если хорошо взяться за дело и выбрать для демонстрации праздничный день, то на нее соберется до 2.000 рабочих. Мы сомневались в этом, но бунтарская жилка заговорила в каждом из нас, и мы сдались. Так произошла известная Казанская демонстрация 6 декабря 1876 года. Теперь о Казанской демонстрации совсем забыли (писано было в 90-х годах). Даже сам г. Драгоманов (известный русский эмигрант), любивший когда-то упрекнуть ею революционеров, вспоминает о ней все реже и реже. Но в свое время она возбудила много толков и споров. Одни осуждали, другие превозносили ее, хотя очень часто и те и другие имели о ней совершенно ошибочное понятие. Для «интеллигенции» цель демонстрации так и осталась невыясненною, вероятно, потому, что в ее подготовлении «интеллигенция» принимала участие только в лице немногих землевольцев, действовавших в рабочих кварталах Петербурга.... Рабочих пришло немного: 200—250 человек. И это было совершенно понятно. Если для принадлежавших к революционным кружкам рабочих демонстрация имела смысл агитационной попытки, то для их незатронутых пропагандою товарищей она могла быть интересна разве лишь как новое, невиданное зрелище. Для дея-

тельного участия в ней у них не было никакого осязательного повода. Поэтому они и не пошли на нее. Еще за несколько дней до демонстрации мы увидели, как несбыточны были розовые надежды задумавших ее революционных рабочих, но отступать было уже поздно... Вечером 4 декабря собрание, на котором, кроме нас, землевольцев, были влиятельнейшие рабочие с разных концов Петербурга, почти единогласно решило, что демонстрация должна состояться, если на нее соберется хоть несколько сот человек. На этом же собрании была предложена и одобрена мысль о красном знамени, о котором прежде никто и не думал... Казанская демонстрация была первою попыткою практического применения наших понятий об агитации. Понятия эти были в то время еще слишком отвлеченны, и уже по одному этому не могло быть удачным их практическое применение. Казанская демонстрация наглядно показала, что мы будем оставаться одни, если в своей революционной деятельности будем руководствоваться лишь своим отвлеченным пристрастием к «агитации», а не существующим настроением и данными насущными нуждами той среды, в которой собираемся агитировать».

Итак, неудача первой демонстрации сознавалась даже ее организатором. Но суд того времени был другого мнения—было поставлено 38 вопросов, на большинство из них особое присутствие сената ответило положительно, и шестеро обвиняемых (Г. В. Плеханова полиции не удалось схватить, он избег и ареста, и наказания) были приговорены к каторжным работам, а остальные, кроме троих оправданных, к ссылке на поселение в Сибирь. В окончательном решении приговор был несколько смягчен. Большинство обвиняемых подали кассационную жалобу—сенат, рассмотрев ее, оставил без последствий, а мотивированное сенатское решение по этой жалобе приобрело в судебной практике руководящее значение и легло в основу даже самых последних дел о политических демонстрациях.

Таким образом, только всего на-всего сорок лет тому назад произошла первая публичная демонстрация на Казанской площади.

И с этих пор демонстрации на этой площади происходили одна за другой, революционная толпа стремилась здесь, на своеобразном русском форуме, проявлять свои чувства по по-

воду тех событий, которые действовали даже на все выносящего, ко всему привыкшего русского обывателя...

И в целях противодействия этим демонстрациям, на Казанской площади был даже разбит сквер, устроен фонтан, насажены цветники—устройством сквера уменьшали размер площади и тем самым думали предупредить возможность публичных массовых демонстраций.

Самой внушительной, самой выдающейся была демонстрация 4 марта 1897 года, в память мученической смерти Марии Федосеевны Ветровой.

И эта демонстрация, как ряд предшествовавших и последовавших, имела общий внешний характер: на площадь Казанского собора приходили учащаяся молодежь, рабочие, сочувствующая интеллигенция. Несколько лиц просило духовенство собора отслужить панихиду, причем называлось только имя, без упоминания фамилии, например, в Ветровской истории—панихиду по рабе Божией Марии. Но духовенство оказывалось в высокой степени проницательным и отказывалось служить панихиду. Об этом отказе оповещали собравшихся—раздавалось стройное пение сначала «Вечной памяти», а потом «Вы жертвою пали», и собравшаяся молодежь стремилась продефилировать по Невскому проспекту. Но появлялись жандармы, конные городовые, предусмотрительно припрятанные по соседним дворам, дворники, переодетые городовые, шпионы; толпу начинали рассеивать, подвергали избиению, наиболее подозрительных арестовывали. После нескольких месяцев отсидки, следовал приговор особого совещания при министерстве внутренних дел о высылке в более или менее отдаленную губернию, под надзор полиции, на более или менее продолжительный срок... Вот и все.

Мария Федосеевна Ветрова—курсистка высших женских курсов, обвиняемая в пропаганде среди рабочих—была арестована в ночь с 21 на 22 ноября 1896 года и заключена в дом предварительного заключения. Затем, 2 января 1897 года, через две недели после обещания «выпустить на волю», ее переводят в Петропавловскую крепость, где Ветрова, 12 февраля того же года, обливает себя керосином из лампы и поджигает.

После суток мучений она умирает. Но об ее смерти сообщают родным только через две недели, обставляют эту смерть какими то необыкновенными таинственностями—и в резуль-

тате, упорно начинает циркулировать слух, что Ветрова покушалась на самоубийство после изнасилования ее жандармами.

Естественным последствием этого слуха и была демонстрация на Казанской площади.

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Смуту усмирять!
Целый день нас не кормили,
Только водкою поили,
Водкою одной!
Много силы у солдата,
Но давить родного брата
Можно лишь спьяна!

. . . .

Храбрый Клейгельс генерал
Все подальше удирал,
А Вяземский генерал—
Тот на Клейгельса кричал:
«Слушайся меня!».

. . . .

Вот характерная частушка, сохранившая нам память о следующей значительной после Ветровской демонстрации — по поводу временных правил об отдаче студентов в солдаты. Демонстрация была также 4 марта, через четыре года, т.-е. в 1901 году. А вот выдержки из двух прокламаций—призывов на эту демонстрацию. Первая прокламация, организационного комитета студентов С.-Петербургского университета, гласила:

«Молчать больше нет сил. Теперь не могут и не должны оставаться равнодушными и те, которые до сих пор были в стороне от движения. Форма, в которой, несомненно, выльется общий дружный протест, подсказывается последними событиями. В ряды протестующих становятся все большие и большие массы людей из общества, готовых, повидимому, вступить в активную борьбу с нашим общим врагом. Сознавая все это, организационный комитет студентов Петербургского университета смело берет на себя инициативу и призывает ровно в 12 часов дня 4 марта на демонстрацию у Казанского собора, как публичное заявление протеста против «временных правил». Мы обращаемся со своим призывом не только к вам, товарищи, но и ко всем, возмущенным последними событиями, ко всем негодующим!».

Совет союза об'единенных землячеств также, с своей стороны, выпустил воззвание, написанное более экзальтированно и начинавшееся известным Некрасовским четырехстишием:

!! КО ВСЕМ !!

Душно без счастья и воли,
Ночь бесконечно темна,
Буря бы грянула, что-ли,—
Чаша с краями полна!

«Полицейский режим достиг своего кульминационного пункта. Все честное и идеальное в человеке, подавленное этим режимом и загнанное внутрь, совершило в глубине свою невидимую работу. Протест живой части общества против мракобесия правительства, против собственного бесправия и рабства, шедший глухо и робкими шагами, начинает выходить на реальную почву. Последние события в Харькове, Москве и Петербурге показали, что студенческие протесты нашли себе наконец поддержку и сочувствие среди разных слоев общества. Оно отозвалось на призыв своих юных сынов и грандиозными демонстрациями заявляет о своем праве на жизнь и внимание к его мнению.

Мы, вновь образовавшийся «Союз об'единенных землячеств и других студенческих организаций», выступая на защиту попранных прав человека и на борьбу за них на общественно-политическом поприще, обращаемся ко всем слоям общества:

Идите с нами, вы, «не проевшие душу живу». Почувствуйте свободу хоть на один час, обновитесь в грозе великих манифестаций. В ваших руках бич общественной цензуры. Не жалейте ударов!

Демонстрация состоится 4 марта, в 12 часов дня, у Казанского собора».

Эта демонстрация была, если так можно выразиться, одной из срединных устроенных в 1901 году. Первая демонстрация на той же Казанской площади состоялась 19 февраля, в день 50-летия освобождения крестьян от рабства. Об этой демонстрации появилось такое правительственное сообщение: «После окончания литургии и общего молебствия, часть находившейся в храме учащейся молодежи, к которой присоединились и лица, стоявшие на паперти собора, столпилась на Казанской площади у края колонады, причем некоторые лица пытались

произносить речи. На требование полиции разойтись, собравшиеся ответили отказом, и в толпе послышался призыв: «господа, все плотной толпою, направо по Невскому!». Следуя этому призыву, толпа с пением песен повернула на Невский, заняв всю улицу и весь тротуар. Нарядом полиции толпа была оттеснена во двор Гостиного двора, арестованных оказалось 244 человека: 71 студент, 128 студенток, 20 женщин и 25 посторонних мужчин»—таковую статистику вела полиция того времени.

4 марта того же года демонстрация повторилась, причем было арестовано 760 человек: 339 студентов и 377 студенток. Куплет вышеприведенной частушки о Клейгельсе—петербургском градоначальнике—и князе Вяземском увековечил тот эпизод из этой демонстрации, когда Вяземский, размахивая визитной карточкою, возмущенный сценою усмирения полицией вполне мирной демонстрации, требовал своего ареста...

И, наконец, 11 марта того же года петербургские рабочие пытались самостоятельно устроить демонстрацию на той же Казанской площади, но эта попытка была неудачна.

Таким образом, за 40 лет Казанская площадь чуть ли не ежегодно бывала местом, где, в той или иной форме, более громко или более робко, стремился вырваться на волю протест русской оскорбленной, угнетенной души.

На этой площади впервые всенародно был провозглашен тот лозунг, который стал лозунгом русской революции: «Земля и Воля!».

Вот почему необходимо в путеводителе по революционному Петербургу отвести одно из первых мест этой площади.

Следуя по набережной Екатерининского канала дальше, к Мойке, мы дойдем до места события 1-го марта, на котором теперь возвышается нелепое подражание Василию Блаженному —храм Спаса на крови (планшет III, № 12).

Вспомним оживленный воскресный петербургский день, когда впервые чувствуется приближение весны. На Невском проспекте, Малой Садовой (теперь улице Пролеткульта) и других прилегающих улицах масса публики, куда-то спешащей и просто фланирующей, деловой и праздношатающейся.

Среди этой публики движется молодая, просто, но со вкусом и изяществом одетая девушка. Она хороша собою. Особенно привлекательны ее глубокие, задушевные глаза. Из не-

большой муфточки девушка несколько раз, пока проходила по Малой Садовой, по направлению от Михайловского манежа до Невского проспекта, вынимала маленький кружевной платок.

Все это так естественно: петербургская весна любит награждать не только насморками, но и простудою, гриппом, инфлуэнцою.

Эта девушка была София Львовна Перовская. Платок служил условным знаком—царь Александр II не поедет через Малую Садовую. И Рысаков, Гриневицкий, Михайлов и Емельянов уже спешили на пустынную набережную Екатерининского канала у Инженерной улицы, а по другую сторону этого канала как бы приросла к решетке в томительном ожидании Софья Перовская. Послышался бешеный аллюр быстро несущихся придворных кровных лошадей. На пустынную набережную завернула царская карета, за которой на расстоянии не более 2 саженей ехал в санях полицеймейстер, полковник Дворжицкий, а еще дальше, за полицеймейстером—полковник Каль и ротмистр Кулебякин. На расстоянии сажен 50 от угла Инженерной улицы, в 2½ часа пополудни под каретою раздался страшный взрыв, распространившийся как бы веером. Выскочив из саней и в то же мгновение заметив, что на панели, со стороны канала, проходившие солдаты схватили какого-то человека, полковник Дворжицкий бросился к императорской карете, отворил дверцы и, встретив выходившего из кареты невредимым государя императора, доложил его величеству, что преступник пойман. По приказанию государя, свидетель проводил его до тротуара канала к тому месту, где находился, уже окруженный толпою народа, задержанный человек, оказавшийся тихвинским мещанином Николаем Ивановичем Рысаковым.

Стоявший на тротуаре подпоручик Рудыковский, не узнав сразу государя, спросил: «что с государем?» На это государь император изволил сказать: «Слава Богу, я уцелел, но вот...» указывая при этом на лежащего около кареты раненого казака и тут же кричащего от боли раненого мальчика.

Приблизившись к задержанному и спросив—он ли стрелял,—его императорское величество, после утвердительного ответа присутствующих, спросил Рысакова, кто он такой, на что тот назвал себя мещанином Глазовым. Затем, как только государь, желая посмотреть место взрыва, сделал несколько шагов по панели канала, по направлению экипажа, у самых

ног его раздался новый оглушительный взрыв, причем поднятая им масса дыма, снега и клочьев платья закрыла на несколько мгновений все пространство. Когда же дым рассеялся, пораженным взорам присутствующих, как пострадавших, так и уцелевших, представилось ужасающее зрелище (мы цитируем сообщение того времени, конечно, во всей его подобающей официозности; далее будут наши небольшие комментарии; более подробно этот эпизод нами изложен в издающейся Гос. Изд. нашей монографии «Старый Петербург. Колыбель Русской свободы»). В числе лиц, поверженных и раненых взрывом, находился и государь император. Прислонившись спиною к решетке канала, упершись руками в панель, без шинели и без фуражки, полусидел на панели возлюбленный монарх, окровавленный и трудно дышавший. Обнажившиеся ноги венценосного страдальца были раздроблены, кровь сильно струилась с них, мясо висело клочками, лицо было в крови. Тут же лежала шинель государя, от которой остались лишь окровавленные и обожженные клочья. Раненый рядом с государем императором полковник Дворжицкий, приподнявшись с земли, услышал едва внятно произнесенные слова государя: «помоги», и, вскочив, подбежал к нему, вместе с другими многими лицами. Кто-то подал платок. Государь, приложив его к лицу, очень слабым голосом произнес: «Холодно, холодно!» Тогда, приподняв государя, уже начавшего терять сознание, окружавшие его лица, в числе которых были юнкера Павловского военного училища и чины проходившего мимо караула от 8 флотского экипажа, при подоспевшем великом князе Михаиле Николаевиче, понесли его к саням полковника Дворжицкого, причем поручик граф Гендриков покрыл своею фуражкою обнаженную голову страдальца. Наклонившись к своему августейшему брату, великий князь спросил, слышит ли его величество, на что государь император тихо отвечал: «слышу»; на дальнейший вопрос его высочества о том, как государь себя чувствует, государь император изволил сказать: «скорее... во дворец», а затем, как бы в ответ на услышанное им предложение штабс-капитана Франка внести его в ближайший дом для подания первоначальной помощи, его императорское величество произнес: «Несите меня во дворец... там... умереть...». То были последние слышанные свидетелями слова монарха. Императорская карета оказалась сильно поврежденной взрывом,

почему его величество поместили в сани полковника Дворжицкого, куда сел ротмистр Кулебякин и с помощью конвойных казаков, Козьменко и Луценко, повез государя императора в Зимний дворец.

Неисповедимые веления Промысла совершились. Об'явлениями от министра внутренних дел, опубликованными того же 1 марта, возвещено, что при вышеописанном втором взрыве его императорское величество государь император был тяжело ранен, с раздроблением обоих ног ниже колен, и в тот же день, в 3 часа 35 минут пополудни, в Бозе почил».

Таков рассказ о деле 1 марта 1881 года в его официальной редакции. Дополнением к нему служит следующий рассказ Е. И. Кедрина, бывшего защитником С. Л. Перовской.

«Могу вам сообщить, сказал своему собеседнику Е. И. Кедрин, что бывший полицеймейстер Дворжицкий, следовавший 1 марта за каретою государя, говорил мне через год, что император Александр II, вопреки всем свидетельским показаниям, скончался моментально, там же на набережной Екатерининского канала, и, следовательно, все показания, будто государь произнес: «холодно, холодно... скорее во дворец»—были вымышлены.

Окончился акт большой трагической борьбы, которую вела незначительная кучка людей, всего 30 с небольшим человек, с неограниченным повелителем огромной монархии. Ничто не помогло—ни жандармы, ни тайная охрана, ни усиливавшаяся с каждым днем реакция. Но бомба Гриневицкого не дала тех результатов, которые мечтались. Взрыв ее не разбудил русское общество, оно не пробудилось, оно не всколыхнулось... На престол вступил Александр III, окруживший себя с самого начала царствования злейшими реакционерами: графом Толстым, Победоносцевым, и на долгую четверть века над Россией повисла тьма, пожалуй, во много раз хуже знаменитой египетской тьмы.

Сравнительно небольшой уголок Петербурга, который мы сейчас начнем осматривать, находящийся между Екатерининским каналом и рекою Фонтанкою с одной стороны и Марсовым полем и Невским проспектом с другой, был свидетелем не одного кровавого присшествия первого марта на Екатерининском канале,—недалеко от Екатерининского канала на Михайловской площади, незадолго до 1 марта был совершен

другой кровавый акт, долженствовавший послужить грозным предостережением, но

...счастливые глухи к добру...

«4 августа 1878 года, в пятницу, в 9 часов утра, шеф жандармов генерал-ад'ютант Мезенцев, во время своей обычной утренней прогулки, шел по Михайловской площади от часовни у Гостиного двора на Невском проспекте в сопровождении отставного полковника Макарова. На углу Б. Итальянской улицы и Михайловской площади (Планшет III, № 13), близ дома кондитера Кочурова, на него неожиданно бросился неизвестный молодой человек, прилично одетый, в сером пальто и очках, сильно ударил его кинжалом в верхнюю часть живота и побежал по Б. Итальянской улице. За ним в погоню бросился полковник Макаров с криком: «держи, держи!» В ту же минуту другой молодой человек, столь же прилично одетый, в длинном синем пальто, в черной круглой пуховой шляпе, с черными усами, выстрелил почти в упор из револьвера в полковника Макарова: пуля пролетела мимо головы последнего. Оба убийцы, пользуясь малолюдством Итальянской улицы, вскочили в ожидавшие их здесь дрожки, запряженные хорошею вороною лошадью. На козлах сидел молодой кучер с черными усиками, без бороды. Сев на дрожки, злоумышленники с Итальянской улицы понеслись по Малой Садовой и скрылись. Полковник Макаров, безуспешно кричавший: «держите, ловите», возвратился к раненому, который, не потеряв присутствия духа, на вопрос испуганных приказчиков Кочурова—кто ранен?—отвечал, что рана нанесена ему, причем указал на свою окровавленную одежду. При помощи полковника Макарова и вышедшего из соседнего дома камергера Бодиско, генерал ад'ютант Мезенцев дошел по Итальянской улице до угла Малой Садовой, где его посадили на извозчика, на котором он доехал до своей квартиры у Цепного моста. В 5 часов 15 минут вечера того же 4 августа генерал ад'ютант Мезенцев скончался».

«Варвар»,—так звали ту лошадь, в которую были запряжены дрожки,—он увез трех участников тяжелой политической мести—ответа на те бесконечные мучительства и издевательства, которые производила политическая полиция, возглавляемая шефом жандармов Мезенцевым, над политиче-

скими преступниками: Кравчинского-Степняка, который ранил Мезенцева, Баранникова, который стрелял в Макарова, и Адриана Михайлова, который был кучером... Степняк-Кравчинский эмигрировал в Англию, остальные участники этой кровавой драмы, как мы указывали выше, поплатились и Шлиссельбургом и далеким Акатуем.

«Вы—представители власти; мы—противники всякого порабощения человека человеком,—так об'ясняла «Народная Воля» убийство Мезенцева в особо выпущенной прокламации: поэтому вы наши враги, и между нами не может быть примирения. Вы должны быть уничтожены. До тех пор, пока вы будете упорствовать в служении бесправию, наш тайный суд, как меч Дамокла, будет висеть над вашими головами, и смерть будет служить ответом на каждую вашу свирепость против нас».

С Михайловской площади свернем на не раз упоминаемую Малую Садовую, потом Екатерининскую (ныне улицу Пролеткульта). На углу Невского, по левой стороне улицы, купцом Елисеевым выстроено помещение для своего гастрономического магазина внизу и театра наверху. Вид этого архитектурного монстра, надо отдать справедливость, довольно таки препоганый, и служить особым украшением этой части Невского проспекта он не может. Когда-то, давным-давно, в 1741 году, здесь появился небольшой двухэтажный каменный домик на погребах; построил его уже упоминавшийся нами русский архитектор Михаил Земцов; его домик был одною из первых построек этой части Невского проспекта. А построен он был потому, что только что вошедшая на престол императрица Елизавета Петровна приказала поспешно соорудить для своего возлюбленного, казака Алексея Разумного, потом графа Алексея Григорьевича Разумовского, нынешний Аничков дворец. Постройка была поручена Земцову, который жил в то время на Литейной стороне. Чтобы находиться поближе к воздвигаемому дворцу, Земцов и выстроил упомянутый нами домик. Но Земцов вскоре умер; его жена не осталась безутешною вдовою и вышла замуж за придворного бандуриста (и такие чины в то время были!) Баранова, который владел собственным домиком, поближе ко дворцу, на Миллионной улице, и дом Земцова был продан купцу Кукушкину, одному из первых торговцев гастрономией в Петербурге. Этот

купец в 80-х годах XVIII века перестроил двухэтажный домик Земцова в четырехэтажный, и в этом виде дом оставался до перестройки Елисеева, меняя, конечно, владельцев. В 80-е годы прошлого столетия дом принадлежал графу Менгдену и сдавался под квартиры и различные торговые помещения. Здесь же на углу помещалась известная в то время кондитерская Исакова.

Кондитерская Исакова представляет собою интерес, так как, на основании обвинительного акта по делу 1-го марта 1881 года, в ней назначали друг другу свидания деятели «Народной Воли», и здесь же 3 марта 1881 года был арестован сын священника Иван Григорьевич Орлов, имевший при себе чужой вид на жительство на имя Козырева и небольшой кинжал.

А в подвальном этаже этого дома, чуть ли не под самой кондитерской, находилась сырная лавка Кобозева. (Планшет III. № 14). Лавка открылась в декабре 1880 года, торговля шла плохо, но хозяева не унывали и продолжали торговать, как ни в чем не бывало. Это обстоятельство, а также некоторая странность поведения хозяев,—их было двое: муж и жена—заставили полицию насторожиться и 28 февраля 1881 года произвести, при участии техника генерал-майора Мравинского, осмотр помещения. Осматривали так хорошо, что ничего не нашли, а через три дня, 4 марта того же года, когда было донесено, что хозяева лавки скрылись, та же полиция, но только в другом составе, обнаружила, «что в стоящих в первом помещении лавки бочке и кадке под соломою и за деревянною обшивкою нижней части задней и боковых стен сложена земля; в смежном жилье такая же земля найдена под сидением дивана, а рядом, в подвальных помещениях, обнаружены десять деревянных больших ящиков, наполненных землею, и шесть мокрых мешков, в которых, повидимому, носили землю. В разных местах были разбросаны землекопные и минные инструменты, как-то: бурав с его принадлежностями, ручной фонарик с лампочкой и пр.

В лавке стена под первым от входа окном была пробита, и в ней открывалось отверстие, ведущее в подземную галлерею, обложенную внутри досками и простирающуюся на 2 слишком сажени до середины улицы. В галлерее была заложена и приготовлена к взрыву мина из системы черного динамита, весом

около 2 пудов, капсули с гремучею ртутью и шашка пироксилина, пропитанного нитроглицерином».

Только спустя значительный промежуток времени было узнано, что под именем Кобозева жил Юрий Богданович, под именем его жены—Анна Васильевна Якимова (кличка Баска).

Из этой лавки велся подкоп для 1 марта 1881 года—если бы император Александр II поехал из Михайловского манежа в Зимний дворец по Малой Садовой улице, его ждал взрыв мины; но Александр II миновал Малую Садовую улицу и был встречен метальщиками бомб Рысаковым и Гриневицким на набережной Екатерининского канала.

Когда на суде экспертиза показывала о силе взрыва этого подкопа на Малой Садовой улице, Кибальчич дал следующее раз'яснение:

«Принимая диаметр воронки в три сажени, оказывается, что сфера разрушения, происшедшего от взрыва, была бы очень местная; расстояние от краев воронки до панели, где стояли или шли люди, было бы все-таки значительное, так что мне кажется неоспоримым, что стоявшие на панелях не пострадали бы от потрясения и взрыва; могли бы пострадать только от обломков асфальта; но они взлетели бы вверх и только падая вниз могли причинить ушибы. Вот весь вред, который мог быть причинен взрывом посторонним лицам. Что касается вреда домам, то я не спорю, что окна были бы выбиты, как показал взрыв метательных снарядов, но чтобы обрушились печи и потолки, то я считаю это совершенно невероятным. Я просил бы г.г. экспертов привести из литературы примеры, чтобы 2 пуда динамита на таком расстоянии произвели такое разрушительное действие, о котором они говорят. Я полагаю, что взрыв этой мины был бы даже менее разрушительным, чем взрыв метательных снарядов. Конечно, все, что находилось бы над воронкою, т.-е. экипаж и конвой, погибло бы—но не больше».

Своим показанием Кибальчич опровергал слова генерал-майора Федорова, который доказывал, что «в окружающих домах были бы выбиты рамы, обвалилась бы штукатурка, и куски асфальта взлетели бы кверху; кроме того, в домах могли бы разрушиться и печки, что же касается стен домов, они могли бы дать более или менее значительные трещины. От взрыва пострадали бы проходившие по панелям, ехавшие по мостовой и даже люди, стоявшие у окон нижних этажей. Люди могли по-

страдать как от действия газов и сотрясения, так и от кусков падающего асфальта и карнизов».

Эксперт давал своим заключением богатый материал прокурору: последний мог заговорить о жестокости террористов, которые не обращают внимания на число жертв. Вот почему, после такого показания эксперта, слово попросил Кибальчич и подчеркнул, что, охотясь на царя, страстно желая достигнуть его смерти, террористы старались, насколько возможно, обезопасить жизнь других людей.

«Да,—подчеркивал Кибальчич,—экипаж (т.-е. царь) и конвой погибли бы, но не больше».

Идя далее по Невскому проспекту, мы должны задержаться на следующем перекрестке, на Караванной улице.

Первый угловой дом, не переходя Караванной, дом Меньшикова (планшет III, № 15), интересен уже потому, что в течение более ста лет, с конца XVIII века, этот дом принадлежит одному и тому же роду Меньшиковых. Появился этот дом в 1793—1795 году, построил его Дмитрий Зубов, брат временщика, и очень скоро продал его городскому голове Петербурга Меньшикову. Такое долгое владение домовым участком одним родом—явление, редко наблюдаемое в Петербурге.

Напротив дома Меньшикова, на другом углу Невского проспекта, Караванной улицы и набережной Фонтанки—громадный доходный дом Лихачева.

В год смерти Петра Великого и восшествия на престол Екатерины I на месте этого дома была устроена гауптвахта—Аничков мост был под'емным мостом, других мостов через Фонтанку не было, и попасть в Петербург нельзя было, миновав Аничков мост и Аничковскую гауптвахту. А из гауптвахты выскакивали солдаты, осматривали документы и забирали под караул всех подозрительных людей. Помощью этой меры Екатерина I и Меньшиков надеялись не допустить скопления в Петербурге приверженцев Петра II, которые могли бы собраться в Петербург с целью устроить переворот.

Гауптвахта просуществовала до конца XVIII века, когда она была уничтожена, а участок, ныне занимаемый домом Лихачева, подарен был Приказу Общественного Призрения, который стал продавать его с аукциона. Купил этот участок наш поэт Гавриил Романович Державин, который занимался не только писанием од, но и скупкою и перепродажею домовых

участков. Выгодно приобретенный участок был перепродан новоладожскому купцу Шарову, от него, переходя из рук в руки, попал, наконец, к Лихачеву, имевшему выгодную страсть покупать и строить угловые громадные дома, известные в Петербурге под наименованием «Лихачевки». В этом доме в 1881 году квартиру № 12 занимала француженка Мессюро, которая содержала меблированные комнаты.

И в этих комнатах разыгрались события, имеющие громадное значение в истории русской революции. Но предоставим слово одному из участников, М. Тригони:

«Приехал я в последний раз в Петербург в конце января 1881 года и остановился в меблированных комнатах Мессюро, на углу Невского проспекта и Караванной улицы (планшет III, № 16).

На другой день по приезде мне нужно было узнать адрес одного моего знакомого, который служил в конторе паровой хлебопекарни на Васильевском острове. Выйдя из дому и пройдя два-три квартала, я взял извозчика и отправился на Васильевский остров. Пробыв с четверть часа у моего знакомого, я вышел и увидал, что с моим извозчиком разговаривает подозрительный человек. Догадавшись, что это агент полиции, осведомляющийся у извозчика о месте, откуда он меня привез, я сел в сани и поехал в университет. Расплатившись с извозчиком, я не раньше вышел из университета, как пробыв там довольно продолжительное время.

Я не ошибся: в тот же день я узнал, что за посетителями конторы паровой хлебопекарни наблюдают.

После этого, вплоть до 25 февраля, я ничего особого не замечал. Утром 25 февраля я обратил внимание на своего соседа по квартире, носившего флотскую форму отставного капитана. Его предусмотрительность в оказывании мне мелких услуг была настолько подозрительна, что я решил переменить квартиру. Но этому не суждено было сбыться.

Впоследствии стало известным, что рядом с той комнатой, какую я занимал, был поселен шпион. Еще осенью 1880 года я получил известие из Крыма, что меня там разыскивают, но звание помощника присяжного поверенного было так удобно для конспиративной деятельности, что без солидных причин мне не хотелось стать нелегальным.

27 февраля 1881 года я вернулся домой в половине седьмого вечера. Через полчаса входит ко мне Желябов и, поздоровавшись, говорит: «У тебя в корридоре, кажется полиция».

Желая узнать, в чем дело, я сейчас же вышел в корридор, но едва успел сказать—«Катя (служанка), принеси самовар»,.. как был подхвачен со всех сторон толпою людей, выбежавших из противоположного пустого номера. Туда меня и отвели, там же сейчас и обыскали. Одновременно был арестован и Желябов в моем номере.

Минут через двадцать каждого из нас посадили с конвоем в особую карету и повезли в канцелярию градоначальника. Градоначальником в то время был Федоров. Там же присутствовал товарищ прокурора судебной палаты, состоявший при департаменте полиции Добржинский.

После обычных вопросов, градоначальник спросил меня: «как фамилия товарища вашего, которого у вас арестовали?».

На это я ему ответил: «потрудитесь обратиться с этим вопросом к моему товарищу, в таких учреждениях я не имею обыкновения отвечать и говорить за других».

На вопрос товарища прокурора Добржинского: «как вы могли проживать под своим именем, когда мы вас давно разыскивали?»—я сказал, что состою помощником присяжного поверенного при Одесском окружном суде, и найти меня было весьма легко.

В десятом часу вечера нас повезли, в тех же каретах, в дом предварительного заключения.

Здесь, в конторе, в ожидании управляющего домом, который должен был нас принять под расписку, встретились мы с Желябовым в последний раз. Он успел мне сказать, что лишь только он вошел в канцелярию градоначальника, как товарищ прокурора Добржинский встретил его восклицанием: «Желябов, да это вы!».

Желябов не нашел нужным это отрицать. Добржинский знал Желябова по процессу 193-х.

Мы—писал Тригони—обнялись, и нас развели по камерам.

Желябов из этой тюрьмы вступил на эшафот, а Тригони сперва в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, потом в Шлиссельбург. После 20-летнего заключения он был переслан на Сахалин, а в 1905 году вернулся к себе на родину,

в Балаклаву. А 5 июня 1917 года Балаклава хоронила Михаила Николаевича Тригони.

Похоронная процессия шла под звуки марсельезы, похоронного марша и переменного пения то церковных, то революционных песнопений. Впереди несли большой, красивый стяг с лозунгом—«Земля и Воля». Путь был устлан зеленью. Гроб до могилы несли на руках ученики и друзья покойного.

Тригони умер 66-летним стариком, одним из тех немногих народовольцев, которым судьба дала возможность дожить до русской революции. Член исполнительного комитета «Народной Воли» дожил до свержения с трона Романовых...

Таким образом, дом Лихачева на Невском проспекте заслуживает внимания: в нем разыгрались первые явления последнего действия большой русской трагедии «Народной Воли».

Арест Желябова безусловно побудил Перовскую к более энергичным действиям. Медлить нельзя было. Нужно было или победить, или пасть самим.

Прозвучали взрывы 1 марта 1881 года, и 2 марта того же года судебные деятели Петербургской судебной палаты с изумлением читали присланный из Петропавловской крепости документ, подписанный А. И. Желябовым.

«Если новый государь, получая скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рысакова намерены казнить,—было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Меня очень беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней и украсит корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции.

Я протестую против такого исхода всеми силами души и требую для себя справедливости.

Только трусостью правительство могло бы об'яснить одну виселицу, а не две.

В январе и феврале я не раз вел с ним (Рысаковым) разговоры о роли царей и судьбах русского народа и, в связи с этим, о необходимости их уничтожения вообще, если русские цари пожелают остаться при старой системе управления».

Желание Желябова было удовлетворено: его присоединили к процессу 1 марта, и он был казнен на Семеновском плацу.

В данной местности есть еще ряд домов, имеющих то или иное отношение к Революционному Петербургу, и прежде всего надо обратить внимание на угловой—Невского проспекта и улицы Пролеткульта, против описанного уже дома Елисеева—высокий пятиэтажный дом. Сделался он таковым в 40-х годах прошлого столетия, до этого времени это был длинный двухэтажный дом-особняк. Принадлежал он некогда Ивану Ивановичу Шувалову (планшет III, № 67).

Любовник Императрицы Елизаветы Петровны, меценат, покровитель русской науки и искусства, первый куратор Московского университета прожил в этом доме вторую половину своей жизни, когда он вернулся из долгого невольного путешествия по Европе. В это путешествие он выехал вскоре после вступления на престол Екатерины II.

После смерти Шувалова дом не выходил из его рода, перейдя сначала в руки дочери его сестры, а затем—отдаленного родственника, Демидова, который и перестроил его в пятиэтажный доходный, или, как в то время называли, «спекулятивный дом»...

В конце 50-х годов прошлого столетия в этом доме жила и умерла от скоротечной чахотки Бозио, одна из самых выдающихся певиц.

Дочь Италии! с русским морозом
Трудно ладить полуденным розам.

Перед силой его роковой
Ты поникла челом идеальным
И лежишь ты в отчизне чужой
На кладбище пустом и печальном...

Такими строками отметил смерть Бозио печальник русской земли Н. А. Некрасов в своем стихотворении «Крещенские морозы».

Похороны этой артистки были первыми публичными похоронами,—стечение толпы было настолько велико, что прекратилось движение по Невскому проспекту. Это было еще небывалое в Петербурге явление.

Хоронили не царя, не генерала, не действительного тайного советника, а всего на-всего простую актрису—и вдруг на

ее похороны сошелся весь Петербург, весь Невский проспект был запружен взволнованной, глубоко потрясенной толпою.

Шептуны указывали, что это вовсе не к добру, что нельзя поощрять такую разнузданность, такое своевольство... «Артистке, певичке, оказывались чуть ли не царские почести!» «Далеко ли после этого и от революции»...

В этом же доме в эпоху великих реформ открылось одно из тех учреждений, которые постоянно находились под подозрением, которые только терпелись и, если бы явилась хоть какая-нибудь возможность, были бы изгнаны с лица земли.

На фасаде дома по Невскому проспекту появилась вывеска: «Библиотека Черкесова». При библиотеке был книжный магизин, который 1 января 1869 года открыл свое отделение в Москве.

Заведующим московским отделением был Петр Гаврилович Успенский, библиотекарем—Феликс Волховский, двое из видных деятелей Нечаевского процесса. В Петербургском магазине Черкесова, несмотря на тщательный обыск, ничего не нашли, и магазин и библиотека, после нескольких дней закрытия, были открыты; библиотека просуществовала почти до наших дней, переменив, конечно, фактического владельца, но сохранив старую фирму. Одно время библиотекой владела известная деятельница книги, Ольга Николаевна Попова *).

Таким образом, проходя мимо описываемого дома, взглянув на вывеску библиотеки, приходилось невольно вспоминать дело Нечаева и самого героя процесса—Сергея Геннадиевича Нечаева.

---

*) История русских, и, в частности, петербургских библиотек совершенно не исследована. Между прочим, не выяснена даже связь между библиотеками Черкесова, Лермонтова и Серно-Соловьевича; пишущий эти строки занимается собиранием материала по этому вопросу и надеется дать еще одну страничку жизни старого Петербурга—„Библиотека в эпоху великих реформ в Петербурге". Сейчас необходимо отметить, что где-то тут же, кажется, на Караванной улице, помещалась библиотека Лермонтова, одного из видных деятелей процесса 193. Точного адреса этой библиотеки я пока еще не нашел, чем и об'ясняется пропуск ее в моем путеводителе. Конечно, это далеко не единственный пропуск, но надо помнить, что моя книга—первая попытка...

«Революционер—человек обреченный. У него нет своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым, исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью—революцией».

Так гласил первый параграф революционного катехизиса, составленного Нечаевым; не менее интересен был и третий.

«Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку—науку разрушения. Для этого—и только для этого—он изучает теперь механику, физику, химию и, пожалуй, медицину. Для этого изучает денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и условий настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна—наискорейшее разрушение этого поганого строя».

Наконец, § 10 говорит, что «у каждого революционера должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, т. е. не совсем посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего революционерного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую сумму».

Автором этого катехизиса и был С. Г. Нечаев, сторонник самый решительный, самый убежденный и даровитый того мнения, что ради великого дела народного освобождения—хороши все средства: надо не останавливаться ни перед какими кровопролитиями, насилием, обманом или жестокостью, но довести дело революции до конца!

Если замыслы и планы Нечаева были всеоб'емлющи, то действия его соответствовали этим замыслам не вполне. Нечаев называл себя «членом Всемирного революционного союза», но, кажется, у этого союза был всего на-всего один член—сам Нечаев.

В кружок Нечаев сорганизовал несколько десятков студентов, но чтобы придать этим кружкам видимость, каждый из первоначальных организаторов получал свою цифру; такой организатор, составляя свой кружок, обозначал привлеченных им лиц посредством прибавления к своему номеру с правой стороны цифры по порядку приглашения. Так, Успен-

ский означался цифрою 17, первый приглашенный Успенским студент Лау имел нумер 171, находившийся же в кружке Лау стал бы иметь нумер 1711—таким образом, можно было подумать, что у организации имеется 1710 членов, следовательно, организация представляла из себя силу. Но этого не было—количество членов было более чем ограниченное.

Наконец, убийство одного из членов кружка, студента Иванова, убийство под влиянием оговора Нечаева, что Иванов—провокатор, а на самом деле Нечаев боялся соперничества Иванова, подозревая последнего в желании играть первую роль и заменить собою его, Нечаева,—наложило тяжелое клеймо на всю организацию.

Нечаев скрылся за границу: нечаевцев судили гласным судом, присудили к каторге. Данным процессом воспользовался Ф. Достоевский для своего романа «Бесы», в котором он безусловно сгустил краски, изобразив кружок нечаевцев в сильно карикатурном виде.

Нечаев недолго оставался на свободе, он был арестован в Швейцарии и выдан последнею России, как уголовный преступник, и 8 января 1873 года состоялось заседание Московского Окружного суда по делу о мещанине города Шуи, носящем звание приходского учителя, Сергее Геннадиевиче Нечаеве, обвиняемом в убийстве.

Суд начался обычным вопросом председателя суда: Вы, Сергей Геннад. Нечаев? Не отвечая на этот вопрос, Нечаев пытался сделать заявление и, несмотря на все старания председателя суда не допустить этого заявления, успел сказать следующее:

«Господин председатель, я эмигрант, подданным русского императора быть перестал, формальности вашего судопроизводства не имеют для меня никакого значения». Подсудимого, по приказанию председателя, выводят, в это время он еще громче продолжает: «я признавал бы позорным для себя допустить судить мое поведение...» На этом слове дверь за подсудимым была заперта. Затем, когда Нечаева ввели второй раз, чтобы при нем производить судебное следствие, он громко крикнул: «Рабом вашего деспота я быть перестал, да здравствует земский собор!» И наконец, по произнесении приговора—двадцать лет каторги—Нечаев продолжал восклицать: «Да здравствует собор! Долой деспотизм!».

Конечно, на каторгу Нечаев не был сослан, а заключен в Петропавловскую крепость, в которой и умер. До конца своей жизни Нечаев сохранил ту изумительную энергию, которой он отличался на свободе. Он сумел вступить в сношение с другими заключенными, а также и с революционерами на воле; существует предание, что даже Желябов виделся с Нечаевым в крепости. Нечаев должен был бежать. Но его бегство, к которому все было подготовлено, могло повлиять на подготовлявшееся покушение на Александра II, и Нечаев сам, добровольно, отказался от бегства, сам остался в Алексеевском равелине...

В этой же местности есть дома, имеющие отношение к первому вооруженному восстанию,—к восстанию декабристов. Прежде всего отметим, что австрийский посланник был женат на одной из дочерей графини Лаваль, другая дочь которой была отдана за князя Трубецкого, последнего декабристы выдвигали, как диктатора, если бы восстание удалось. Но восстание не удалось, и князь Трубецкой скрывался несколько дней у своего шурина, австрийского посланника, проживавшего на Караванной улице в доме графа Гурьева (планшет III, № 68). Считаем не безынтересным отметить, что на дочери графа Гурьева, бывшего в то время министром финансов, был женат граф Нессельроде; он жил в том же доме. Таким образом, министр финансов, министр иностранных дел и австрийский посланник мирно уживались под одною кровлею, и если бы посланник захотел, то организовать шпионство за министром иностранных дел ему было бы более чем легко.

По той же самой Караванной улице, в следующем, соседнем, ближе к Итальянской, тогда в доме Муравьевой, № 14 (планшет III, № 69) была квартира другого видного декабриста, Николая Михайловича Муравьева, автора знаменитого Катехизиса; наконец, приблизительно, в этой части, по Невскому проспекту в доме Моисеева (Планшет III, № 70) жил Петр Николаевич Свистунов. Дом Моисеева в то время значился в III адмиралтейской части, под № 51. Конечно, теперь этого дома не имеется, он перестроен, переменил не одного владельца, и в наши дни здесь возвышается дом страхового общества «Россия», между домом Московского банка и армянскою церковью. Дом Моисеева или, вернее, участок, занимаемый этим домом, интересен еще и потому, что это был один из первых

участков, отведенных в этой части Невского проспекта. А случилось это в царствование Императрицы Елисаветы Петровны: 30 апреля 1749 года последовал всемилостивейший высочайший указ «об избавлении от постов воинских частей санктпетербургского двора Кофишенка Осипа Моисеева. Кофищенк—заваривавший кофе для высочайшего двора—была в то время весьма выгодная должность.

Восстановим еще несколько домов, где проживали декабристы—мы только что приступили к этой части нашей работы, сведения у нас слишком незначительные, но все-таки достигнуть некоторых результатов нам удалось.

В первой Адмиралтейской части жительствовал в доме тайного советника князя Салтыкова, помещавшемся на Царицыном Лугу и в Апраксином, или Аптекарском переулке под № 19, князь Евгений Петрович Оболенский. Этот дом находился на Царицыном Лугу, рядом с казармами лейб-гвардии Павловского полка; в 70—80-х годах прошлого столетия он был приобретен принцем Ольденбургским и перестроен в четырехэтажный служительский дом. А еще раньше, чем им стал владеть князь Салтыков, еще в Петровские дни, здесь, на набережной Красного Канала (канал этот засыпан; он шел через Царицын Луг, параллельно еще сохранившейся Лебяжьей канавке, по другой стороне луга и соединял Мойку с Невою) возвышался личный дом Екатерины I, отведенный под жительство герцога Гольштинского... И с балкона дома, не один раз, герцог следил за направлявшейся к Летнему саду царской коляскою, в которой сидели две прекрасные дочери царя, царевны Анна и Елизавета. Одну из них грозный царь обещал выдать за герцога, но которую?.. Герцог еще не знал, царь не об'являл имени — и герцог, пламенея к прекрасной Елизавете, отпускал поклоны обоим... В жены герцогу досталась царевна Анна.

Во 2-й Адмиралтейской (ныне Казанской) части, в доме Воспитательного Дома по Мойке, жил декабрист А. Н. Сутгоф. Наконец, на Адмиралтейском острове, в 4-й Адмиралтейской части, близ нынешней Воскресенской площади, а тогда «на Козьем болоте, на бугорках»—жил князь Александр Иванович Одоевский.

Воскресенская площадь тогда звалась более характерно—Козье болото: очевидно, здесь было болото. На этом болоте паслись обывательские козы. Нынешние улицы: Торговая, Офицерская, Мастерская—были об'единены одним общим названием «Бугорки», т.-е. эта местность уже не была болотом, а более возвышенным местом; и вот на одном из таких бугорков, на углу нынешних Торговой и Большой Мастерской (а тогда одного из «Грязных» переулков), в доме № 25, жены коллежского асессора Погодина, и имел обиталище князь Александр Иванович Одоевский, один из интересных русских поэтов, которому другой гениальный русский поэт, Лермонтов, посвятил такие глубоко прочувствованные строки:

Он был рожден для них, для тех надежд
Поэзии и счастья... Но—безумный—
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной.
И свет не пощадил, и Бог не спас!
Но до конца, среди волнений трудных,
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей, и в жизнь иную...

Прежде чем перейти реку Фонтанку, бывшую еще в царствование императрицы Екатерины II границею между настоящим городом и предместьем, обратим внимание на Аничков дворец, который, как это ни покажется странным на первый взгляд, приходится зарегистрировать в «Революционном Петербурге». В конце 70-х годов прошлого столетия в Петербурге стали учащаться рабочие забастовки. Между прочим, припомним, что первая забастовка в Петербурге была 12 июня 1749 года,—т.-е. 170 лет тому назад—на суконной фабрике Ефима Болотина. На этой фабрике работало на 170 станках до 1.000 человек ткачей. Заявив хозяину, что они не хотят более работать, слишком 800 человек ушли с работы. Хозяин, конечно, тотчас обратился по начальству, и Сенат предписал военным командам ловить ткачей и представлять в полицию, которой и поручено было разобраться в деле. Полиция произвела расследование и нашла, что причина забастовки—желание рабочих повысить заработную плату, хотя хозяин платит сполна, как было положено по указу 1736 года. Были найдены зачинщики—их оказалось немного: всего на всего 5 че-

ловек—сенат и положил их наказать на фабрике кнутом. В день исполнения экзекуции собраны были на фабрику рабочие, но оказалось, что 586 человек убежало из С.-Петербурга, 203 человека встало на работу, а 127 человек, несмотря ни на какие уговоры, не согласны приступить к работам. Снова на сцену появились плети—сенат приговорил из этих 127 человек упорствующих наказать плетьми по жребию 10-го. Оказалось, что плети подействовали, и упорствующие встали за станки. Конечно, и в этом случае не хотели видеть причину забастовки в эксплоатации рабочих, предполагали, что рабочих подбили на забастовку английские фабриканты, и между ними некто Каванах, которые хотели сами открыть в столице суконные фабрики и желали избавиться от конкуренции русских фабрикантов. Эта справка о забастовке позволяет нам привести и другую, не менее любопытную, справку: вопрос о 8-часовом рабочем дне был поднят в России в русской литературе в 1768 г. В этот год вышла очень любопытная книжка Якова Павловича Козельского «Философические Предложения», очень интересный и своеобразный курс философии. В нем, являясь принципиальным противником войны,—«бесчеловечное желание, сопряженное с могуществом и силою, чтобы причинить своему ближнему всевозможный вред, даже и самую смерть, без страха казни—называю я войною»,—Я. П. Козельский высказал вполне новую для своего времени мысль. Он говорил: «но надлежит знать, что хотя я и советую иметь трудолюбие, но не чрезвычайное, которое может укоротить жизнь человеку. Мне думается, что *для труда человеку довольно восьми часов в сутки, другие восемь часов может он употребить на одеяние, кушанье и забаву, а третьи восемь часов на сон* (200 стр.; курсив мой). Итак, 150 лет тому назад в России появился человек, который выставил требование восьмичасового рабочего дня. Конечно, это требование не было удовлетворено, но интересна и важна сама постановка вопроса. Так вот, в 70-х годах прошлого столетия положение рабочего в Петербурге стало настолько экономически невыносимым, что рабочий прибегнул к забастовке. Наиболее значительною была забастовка в марте 1878 года на Новой бумагопрядильне, на Обводном канале. Здесь, на этой фабрике, был небольшой революционный кружок, и душою его был нелегальный, унтер-офицер Гобст, впоследствии

в июле 1879 года, повешенный в Киеве, а в то время, о котором теперь идет речь, усердно разыскиваемый полициею, по делу о пропаганде в войсках Одесского военного округа. Но, несмотря на этот революционный кружок, общая масса работавших на новой бумагопрядильне была «серыми людьми», недавно попавшими в столицу и в целости сохранившими свои деревенские предрассудки. Поэтому-то сближение с революционерами не мешало большинству стачечников надеяться на помощь со стороны трона. И именно от революционеров и ждали, что они напишут прошение («хорошенькую бумажку!»). Обращаться с такой просьбою к революционерам—вспоминает Г. В. Плеханов—значило почти то же, что просить сатану отслужить молебен. Но делать было нечего. Веру в царя нужно было разрушать не словами, а опытом. И вот однажды утром в квартиру Гобста принесен был проект требуемого прошения, его предполагалось подать наследнику престола, жившему в Аничковом дворце. Прошение было торжественно отнесено чуть ли не всеми рабочими мануфактуры к Аничкову дворцу. Там его принял для передачи по назначению градоначальник. Рабочие уверяли после, что когда Козлов брал у них прошение, наследник стоял у окна и видел все происходившее. Это обстоятельство было, вероятно, плодом их фантазии, но, тем не менее, пришлось оно очень кстати: никто не мог бы убедить впоследствии стачечников, что их прошение скрыли от наследника недоброжелательные к ним придворные... Наследник, конечно, не ответил на просьбу стачечников. Некоторые, более доверчивые из них, продолжали еще ждать и надеяться, но зато другие—и таких с каждым днем становилось больше и больше—решили, что и наследник не хуже градоначальника тянет руку управляющего. «Нечего было и ходить к нему, только сапоги трепали», говорили теперь нередко те самые люди, которые прежде энергичнее всех стояли за подачу прошения. Вынесенный из деревни политический предрассудок уступал место трезвенному взгляду на вещи. Прежде стачечники смотрели на верховную власть, как на верную защитницу народных интересов, теперь они стали видеть в ней сообщницу капиталистов. Этот новый взгляд немедленно выразился в неизвестно кем сочиненной басне о том, что наследник находится в интимной связи с женою управляющего и, кроме того, имеет свой пай в фабрич-

ном капитале. Едва ли кто из стачечников верил этой басне, но все повторяли ее очень охотно.

От рабочих «Новой Мануфактуры» все-таки было принято прошение, а когда в конце ноября 1878 года произошла стачка на прядильной фабрике Кенига за Нарвской заставой, и выборные от этой фабрики в количестве 30 человек вздумали 2 декабря 1878 года обратиться с прошением к наследнику, то в Аничковом дворце даже не приняли прошения...»

Перейдя Аничков мост, направимся по Троицкой улице, еще недавно носившей название Троицкого переулка, на которой имеется ряд достопамятных мест.

Прежде всего должно обратить внимание на дом № 8 (планшет IV, № 18)—здесь в 1873 году поселилась, вернувшись из-за границы, из Цюриха, дворянка Евгения Константиновна Судзиловская вместе с цюрихскою студенткою Варварой Ивановною Ваховскою.

Судзиловская и Ваховская—участницы так называемого большого процесса, процесса 193, процесса «чайковцев», Кропоткина, «пропагандистов»,—того процесса, в котором главными участниками были Ипполит Мышкин, Войнаральский, Ковалик, Рогачев, Синегуб, и к которому первоначально были привлечены чуть ли не тысячи молодых людей.

«Их лозунг—«в Народ». Молодые люди бросали военную службу, конторы, прилавки и стремились в университетские города. Девушки, получившие аристократическое воспитание, приезжали без копейки в Петербург, Москву, Киев, чтобы научиться делу, которое могло бы их освободить от неволи в родительском доме, а впоследствии, может быть, и от мужнинного ярма. Многие из них добились этой личной свободы после упорной, суровой борьбы. Теперь они жаждали приложить с пользою приобретенное знание; они думали не о личном удовольствии, а о том, чтобы дать народу то знание, которое освободило их самих.

Во всех городах, во всех концах Петербурга возникали кружки саморазвития. Здесь тщательно изучались труды философов, экономистов и молодой школы русских историков. Чтение сопровождалось бесконечными спорами. Целью всех этих чтений и споров было разрешить великий вопрос, стоявший перед молодежью: каким путем она может быть наиболее полезна народу? И постепенно она приходила к вы-

воду, что существует лишь один путь: нужно итти в народ и жить его жизнью. Молодые люди отправлялись поэтому в деревню, как врачи, фельдшера, народные учителя, волостные писаря. Чтобы еще ближе соприкоснуться с народом, многие пошли в чернорабочие, кузнецы, дровосеки. Девушки сдавали экзамены на народных учительниц, фельдшериц, акушерок и сотнями шли в деревню, где беззаветно служили беднейшей части народа.

У всех их не было никакой еще мысли о революции, о насильственном переустройстве общества по определенному плану. Они просто желали обучить народ грамоте, просветить его, помочь ему каким-нибудь образом выбраться из тьмы и нищеты и в то же время узнать у самого народа, каков *его* (курсив подлинника) идеал лучшей социальной жизни».

Эту характеристику, сделанную П. Кропоткиным, следует дополнить следующими строками, принадлежащими другому деятелю той же эпохи, Аптекману:

«Весною 1874 года волна революционно-пропагандистского движения в Петербурге достигла своей крайней высоты. Кружки и сходки прекратились. Они теперь уже не нужны. Все вопросы решены. Время уже итти в народ. Надо приготовить все необходимое для этого. Но прежде всего нужно научиться физическому труду. И работа закипела. Одни отправляются на заводы, фабрики, где, с помощью пропагандированных рабочих, устраиваются и приступают к работе. Поступок этих студентов импонирует товарищам. Пример их заразителен. Те, которые почему-либо не могут последовать этому, страдают от огорчения. Другие—таких было, если не ошибаюсь, большинство—бросаются на изучение ремесл: сапожного, столярного, слесарного и пр. Этому можно скорее научиться, да и ремесло пригодится в ссылке. Надо быть готовым. Во многих частях Петербурга—на Выборгской, Петербургской сторонах, в Измайловском полку, на Васильевском острове и пр.—открываются такие мастерские, в которых выучка, под руководством опять-таки рабочего-революционера, идет довольно успешно. Война, говорят, родит героев. Революционная необходимость научиться ремеслу обнаружила положительно таланты по этой части среди нашей молодежи.

Мастерские, устраиваемые молодежью, были все почти на один манер: мастерские были одновременно и коммунами. Зай-

дем в такую мастерскую-коммуну. Небольшой деревянный флигель из трех комнат с кухнею на Выборгской стороне. Скудная мебель. Спартанские постели. Запах кожи, вара бьет в нос. Это—сапожная мастерская. Трое молодых студентов сосредоточенно работают. Один особенно занят прилаживанием двойной толстой подметки к ботфортам. Под подошву надо спрятать паспорт и деньги—на всякий случай. У окна, согнувшись, вся ушла в работу молодая девушка. Она шьет сорочки, шаровары, кисеты для своих товарищей, собирающихся на днях итти в народ. Надо торопиться, и иголка так и мелькает в воздухе. Лица—молодые, серьезные, бодрые и ясные. Говорят мало, потому что некогда. Да и о чем разговаривать? Все уже решено, все ясно, как день.

То же самое и при встречах на улицах. Лаконические вопросы: куда направляетесь? куда едете?.. и такие же ответы: на Волгу! на Урал! на Дон! на Запорожье! и т. д., и т. д. в этом роде.

Крепкие рукопожатия и всякие благие пожелания. В путь дорогу!

Нет больше сомнений, нет колебаний. Чистое, как хрусталь, настроение, цельное, почти религиозное чувство охватило молодежь. И, выпрямившись во весь рост, она, добрая, светлая, глубоко-верующая,—потянулась к тому,

Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусство, науки,
Предаваться мечтам и страстям!

«Итти в народ! Что это означало? Это означало не только отдать народу свои силы, свои знания во имя и ради народной революции, но это означало еще жить его радостями и страданиями, делить с ним его светлые надежды и горькие разочарования. А это опять-таки означало: надо оставить высшие учебные заведения, официальную науку, расстаться с родными и близкими, со всеми привычками и удобствами досужей культурной жизни и, стряхнувши все это с себя, как несправедливое, незаслуженное и вредное, погрузиться на самое дно, в самую гущу многострадальной народной жизни!..

Нужно, стало быть, раз навсегда сбросить с себя культурную шкуру и предстать перед народом в его грубой рабочей шкуре.

Эта революционная молодежь, полная веры в народ и в собственные силы, охваченная каким-то экстазом, потянулась в далекий, неведомый путь. Позади остались дорогие образы родных и близких, вошедшие в кровь и плоть культурные привычки, высшие учебные заведения с их правами и льготами. Все корабли сожжены. Возврата нет.

Пропаганда разлилась по всей России. Она охватила 37 губерний, по официальным данным. Арестовано было более 1.000 человек, весь цвет учащейся молодежи. Они томились в крепостях, тюрьмах и казематах.

Жизнь нам дала хороший, серьезный урок и заставила нас поразмыслить над тем, что произошло. Она, суровая и безжалостная, заставила нас, увлекающихся, научиться более правильному, более об'ективному, более реальному пониманию условий и требований действительности...»

И в доме № 8 по Троицкой улице существовала одна из таких квартир, в которой назревала так метко и красиво начертанная психология молодежи 70-х годов. Ни Судзиловская, ни Ваховская не играли заметной, большой роли в этом движении, они были рядовыми работницами, но их квартира была занесена в обвинительный акт, она сохранилась и для нас, тогда как большинство остальных квартир, на которых проживали гораздо более выдающиеся деятели этого движения в народ, к сожалению, остались незарегистрированными и только с большим трудом, да и то некоторый, совсем ничтожный процент, могут быть восстановлены.

Следующий дом по Троицкой улице № 9 (планшет IV, № 19). Этот дом помещается на правой стороне улицы, пройдя Графский переулок, на углу, один из домов Лихачевой. Здесь в 1880 году была одна из квартир Александра Михайлова — о нем будет сказано немного ниже, когда мы подойдем к гостинице «Москва». Через несколько домов от этого последнего, по той же стороне Троицкой улицы, следует заметить дом № 13 (планшет IV, № 20)—знаменитый дом Павловой с его театральным залом, драматическими представлениями, концертами, лекциями. В этом доме помещалась контора и редакция «Дела»—радикального журнала 70-х годов прошлого столетия. В этом журнале, между прочим, обращали на себя

внимание живые, огненные статьи, подписанные Кольцовым,— таков был легальный псевдоним слишком нелегального человека, одного из редакторов «Народной Воли», Льва Тихомирова, впоследствии совсем порвавшего с прошлым и перешедшего в противоположный стан. Лев Тихомиров стал редактором «Московск. Ведомостей», органа, созданного Катковым и поставившего себе задачею не только охранять сегодняшнее status quo, но углублять его, расширять.

Тяжелое ощущение, вызываемое этою изменою, облегчается хоть немного тем сознанием, что общечеловеческое чувство не было нарушено: отрекшись от старых богов, Тихомиров не предал никого из своих былых соратников. Он стал «ренегатом», но «провокатором» он все-таки не мог сделаться.

Далее дом № 27 на Троицкой улице (планшет IV, № 21), заслуживающий самого любовного отношения. Здесь с сентября 1889 года по январь 1881 года проживали под фамилией Николаевых одесский мещанин Макар Васильевич Тетерка и Геся Гельфман, здесь помещалась типография «Рабочей Газеты», издаваемой народовольцами. Квартира была так хорошо законспирирована, что о существовании ее полиция узнала тогда, когда жильцы ее уже выехали и скрыли и типографию, и комплекты газеты...

По Троицкой улице дойдем до перекрестка Пяти углов и здесь на Загородном проспекте отметим дом № 20—где проживала дочь священника Любовь Богословская... (Планшет IV, № 22).

23 ноября 1879 года, в первом часу ночи, в управление 3 участка Московской части явился какой-то неизвестный человек и требовал немедленного свидания с приставом. Этот неизвестный оказался отставным рядовым лейб-гвардии саперного батальона, Виктором Алмазовым. Он заявил, что проживает здесь же, неподалеку от участка, и что на квартире у него живет барышня-студентка и давно уже старается с ним получше познакомиться, чтобы снабжать его книгами, давала ему и какое-то воззвание по поводу взрыва под Москвою, и газету «Народную Волю» и, наконец, даже толстую книгу—сочинения Лассаля. «А сегодня вечером», добавил «распропагандируемый» Виктор Алмазов, барышня передала целый сверточек и просила спрятать, так как она боится, не придут ли к

ней с обыском». И Алмазов передал приставу небольшой сверток, в котором оказалось 4 воззвания и 5 номеров газеты «Народная Воля», № 2. Конечно, пристав был в восторге от такого «патриотического» поступка Виктора Алмазова, в ту же ночь у Богословской был произведен обыск, и, хотя ничего подозрительного не было найдено, Богословская была арестована и доставлена в секретное отделение градоначальства. Молоденькая барышня, находясь под впечатлением только что бывших событий—взрыв царского поезда под Москвою—взволнованная обыском, попавши в опытные руки пристава 3-го участка Московской части, подполковника Кулябко и начальника секретного отделения Фурсова, не выдержала и стала рассказывать и то, что было, и то, чего не было, но ей казалось, что могло быть. Были выданы сестры Сокологорские, жившие на одной квартире с Богословской. Эти сестры, по ее словам, познакомили ее с какою-то их общею знакомою Евгениею Побережской, а эта последняя и снабжала Богословскую нелегальными изданиями. Но, вступив на почву откровенности с тайною полициею, трудно остановиться,—и Любовь Богословская поведала, что она не только была знакома с Сокологорскими (эти последние впоследствии отрицали все возводимое на них Богословской), но и подслушала — правда, случайно, так смягчала свой поступок Богословская—разговор Сокологорских с Побережской и из этого разговора поняла, что настоящая фамилия Побережской—Фигнер, и что она занимается корректурой в типографии «Народной Воли».

Надо полагать, что пристав Кулябко и начальник секретного отделения Фурсов ликовали, выпытывая такие признания у Богословской. Правда, Богословская не знала адреса Побережской—но к услугам полиции адресный стол, и через сутки, в ночь на 24-е ноября, тот же пристав, подполковник Кулябко (счастье ему сопутствовало, Побережская, как оказалось, проживала в его участке), уже звонил поздно ночью по Лештукову переулку в доме № 13, квартира № 22, где значились бывший учитель чебоксарского уездного училища Михаил Петрович Чернышев и Евгения Павловна Побережская (планшет IV, № 23).

Обыск дал поразительные результаты. Было найдено 653 экземпляра первого листа № 2 «Народной Воли», 560 экземпляров второго листа того же номера и третьего полулиста 89

экземпляров—очевидно, в этой квартире была брошюровочная, сюда доставляли из типографии «Народной Воли» отпечатанные листы, здесь их фальцовали и отсюда они распространялись по всей России, по всему свету. Что в этой квартире была и экспедиция—на это наводил факт нахождения 13 конвертов с адресами разных лиц, с наклеенными на конвертах городскими и загородными марками, т.-е., совсем готовыми к отправке, а в конвертах были вложены воззвания от исполнительного комитета от 22 ноября, по поводу взрыва 19 ноября на железной дороге под Москвой. Затем, среди бумаги была найдена корректура № 1 «Народной Воли», далее, корректурный лист воззвания, начинающегося словами: «Крестьяне, мещане и весь трудящийся люд земли Русской!»—следовательно, выше приведенное показание Богословской, что Побережская, вернее, Фигнер, занимается корректурою—не выдумка, а правда Затем, в комнате было найдено довольно значительное количество другой нелегальной литературы, шестиствольный заряженный револьвер системы Вессон, небольшой кинжал в кожаном чехле, 371 рубль деньгами, письма, фотографические карточки и—о ужас—три карандашных наброска плана Зимнего дворца! Когда эти рисунки были пред'явлены заведывающему Зимним дворцом инженер-генералу Дельсамо, последний заявил, что пред'явленный ему крок, есть общий план Зимнего дворца с прилегающими зданиями, малым и новым эрмитажем. Судя по сделанным надписям, рисунок под № 1 относится к 1-му этажу Зимнего дворца, причем, однако, некоторые названия на плане относятся до комнат 2 этажа, но помечены по расположению верно. На рисунке № 2 имеется пять набросков. Все они изображают один из фасадов Зимнего дворца, но из них два, повидимому, не окончены, а остальные три изображают второй и третий этажи дворца, выходящие окнами на разводную площадку, против Адмиралтейства; набросок № 3 представляет детальный план половин его и ее величеств и совершенно соответствует действительности, при этом комнаты, обозначенные буквами Пр., Уч., Каб., означающими приемную, учебную и кабинет, перечеркнуты на плане крестом. Наконец, на последнем рисунке набросан салтыковский под'езд, лестницы во второй этаж на половину его величества и выход на большой двор; сделанный же на этом рисунке кружок приходится на место помещения, отведенного под солдатский караул на главной дворцовой гауптвахте...

Чернышев оказался Александром Александровичем Квятковским, из дворян Томской губернии (потомок сосланного в Сибирь поляка), 27 лет, учился в Технологическом институте, но курса не окончил. В 1874 году был арестован за хранение у себя сочинений преступного содержания. В 1876 году, по освобождении из-под ареста, пропагандировал в окрестностях железнодорожной станции «Ефремов», откуда скрылся, а в 1877 году с тою же целью проживал в Ардатовском уезде Нижегородской губернии, на устроенной Филипсом (Линевым) ферме при деревне Мостовке, с подложным паспортом на имя почетного гражданина Григория Григорьевича Русалова, откуда, при обнаружении и задержании бывших вместе с ним лиц, скрылся.

Побережская—Евгения Николаевна Фигнер, 21 года, из дворян Казанской губернии, первоначальное образование получила в Коломенской женской гимназии, затем слушала курсы при Калинкинской больнице; имела диплом фельдшерицы. Привлекалась по делу о преступном сообществе Саратовской и Самарской губерний.

Надежды пристава Кулябко не вполне оправдались: типография «Народной Воли» им не была найдена; правда, арест Квятковского, большого деятеля Народной Воли, был достаточным поводом к хорошей награде.

Таинственный план Зимнего дворца так и остался непонятым тайною полициею, только взрыв 5 февраля 1880 года показал полиции, чтó давал ей в руки обнаруженный на квартире Квятковского план.

Только что рассказанный нами эпизод очень характерен, во-первых, по тому, в достаточной степени легкомысленному, отношению к распропагандируемым лицам, а во-вторых и по халатности полиции того времени. Обнаружив план, не обнаружить работ Халтурина (об этом ниже) значит—действительно, показать полную неспособность в деле сыска. Но наши революционеры тоже не заслуживали в этом случае особой похвалы за свою неконспиративность. В самом деле, если можно извинить Богословскую, молоденькую девушку, горевшую жаждою пропаганды, в навязывании нелегальных изданий малознакомому солдату, то непростительно для Евгении Фигнер входить в сношения с Богословской. Фигнер была причастна к таким учреждениям партии, которые требовали более строгой конспирации.

За Лештуковым переулком, по набережной Фонтанки, приблизительно там, где теперь проведена новая улица, Бородинская, произошло одно из первых избиений полицией рабочих.

18 января 1878 года бастующие рабочие отправились с Обводного канала к градоначальнику, причем для сокращения пути прошли с Загородного проспекта на Фонтанку через проходной двор мещанской управы. И только что они вышли на набережную, их атаковали жандармы. Произошла свалка. Жандармы мяли рабочих лошадьми, рабочие защищались, как умели. Но силы были слишком неравные, нападение было слишком неожиданное. Жандармы победили. К счастью для рабочих, упомянутый проходной двор обеспечил им довольно безопасное, хотя и беспорядочное отступление.

По нынешней Бородинской улице, по Загородному проспекту, выйдем на площадь церкви Владимирской Божией Матери и завернем в Московскую улицу, когда-то именовавшуюся Большой Офицерской, а еще раньше Преображенской. Угловой дом принадлежал с незапамятных времен (со времени царствования Екатерины II) ремесленной управе, а рядом с нею дом, некогда значился домом Эсаулова, № 4; в нем жил и был арестован Николай Григорьевич Чернышевский (планшет IV, № 73). Тут же на площади интересен небольшой старенький домик городского училища—в нем когда-то было Владимирское приходское училище (планшет IV, № 74); здесь начал свою деятельность Сергей Нечаев, здесь же происходили знаменитые лекции профессоров университета после его закрытия. По Владимирской улице дойдем до Стремянной, на которой надо отметить квартиру Михайловского, который имел отношение и к народовольцам (планшет IV, № 24). Здесь редактировалось то воззвание к русскому обществу после покушения 1-го марта, о котором дал одобрительный отзыв Маркс. Наконец, по той же самой Владимирской улице дойдем до перекрестка у Невского проспекта. В старом Петербурге этот перекресток звался Вшивою биржею. Столь характерное название этот блестящий и оживленный ныне перекресток получил вот отчего. Нынешний угловой дом на Владимирскую улицу и Невский проспект, дом, в котором помещалась былая знаменитость Петербурга, ресторан Палкина, в первой четвер-

ти прошлого столетия был уже выстроен, но в нижнем этаже, вместо магазинов, имел склады для товаров. Около этого дома всегда толпились дрягили, носильщики, ломовые извозчики. Сюда же приходили мелкие торговцы с'естными припасами, а также ремесленники—уличный сапожник, например, или парикмахер, который усаживал своего клиента здесь же на улице, на тумбу, и начинал стричь. Волосы падали на землю, на тротуар, а вместе с волосами и то, что дало этому перекрестку такое характерное название.

А напротив, по другой стороне Владимирской улицы, много лет помещается гостинница «Москва» (планшет IV, № 25), дававшая неоднократно приют нашим революционерам. Так, в 1880 году в этой гостиннице поселился отставной поручик Поливанов.

Мало ли в Петербурге отставных поручиков,—и в участке не обратили внимания, когда швейцар гостиницы принес в числе других паспортов и паспорт на имя Поливанова. Особых художеств за отставным поручиком не значилось, жил он тихо, спокойно и так же незаметно переехал на другую квартиру, на Пески, Орловский переулок дом № 2 (планшет XII, № 75).

А 28 ноября 1880 года тот же поручик Поливанов вышел из фотографии Таубе и медленно, как будто после сытного завтрака, шел по направлению к Владимирской улице; на самом углу Невского проспекта поручик Поливанов вскочил в вагон проезжавшей конки. А вслед за Поливановым с другой стороны площадки коночного вагона взошел другой, какой-то мужчина, хотя одетый и в штатское, но всей своей выправкой ясно свидетельствовавший о военной службе. Вагон конки был переполнен, и два последних пассажира оставались на площадке, стараясь, как бы не обращая внимания, следить друг за другом. На Владимирской площади рельсы конки круто заворачивали и почти подходили к тротуару Загородного проспекта; здесь же на углу почти всегда дежурил очередной извозчик.

Как только вагон конки поравнялся с извозчиком, поручик Поливанов соскочил с площадки вагона, тотчас вскочил в пролетку, называя извозчику адрес. Но второй пассажир—это был переодетый околоточный надзиратель—тоже не медлил, он также покинул вагон и схватил поручика Поливанова за руки;

с поста бежал дежурный городовой, спешили дежурные дворники, и через несколько минут поручик Поливанов был доставлен в ближайший участок, откуда его препроводили на Шпалерную.

Вскоре выяснилось, что поручик Поливанов—давно разыскиваемый Александр Дмитриевич Михайлов, один из видных деятелей партии «Народной Воли»,—его судили в известном процессе 20-ти, том процессе, в котором были соединены такие видные народовольцы, как Суханов, Баранников, Тригони, Исаев и другие.

Александр Дмитриевич Михайлов носил в партии кличку «дворник», одной из отличительных его способностей был надзор за революционной конспирацией. Войдет А. Д. Михайлов в квартиру, сейчас осмотрит все углы, постучит в стену, чтобы убедиться, достаточно ли толста, послушает, не слышно ли разговора в соседней квартире, выйдет для того же на лестницу. За «знаками», т. е. сигналами безопасности, которые снимались с окошка, если квартира была в опасности, т. е. в ней производился обыск или была устроена засада, А. Д. Михайлов следил особенно тщательно.

«Вашего знака не видно, у вас вовсе нельзя устроить знак, что это за комната, как к вам ходить?».

Один товарищ даже смеялся по этому поводу, уверяя, что в истории, будет отмечено современем: «и прииде дворник и учреди знак».

Из конспирации А. Д. Михайлов создал целую науку. Он очень ловко гриммировался, выработал в себе способность одним взглядом отличать знакомые лица в большой толпе. Петербург он знал, как рыба свой пруд. У него был составлен громадный список проходных дворов и домов, и он все это помнил наизусть и пользовался им артистически. Один человек, спасенный Александром Дмитриевичем от ареста, рассказывал следующее: «я должен был сбежать с квартиры и скоро заметил упорное преследование. Я сел на конку, потом на извозчика. Ничего не помогло. Наконец мне удалось, бегом пробежавши рынок, вскочить в вагон с другой стороны; я потерял из вида своего преследователя, но не успел вздохнуть свободно, как вдруг входит в вагон шпион, прекрасно мне известный; он постоянно присутствовал при всех проездах царя и выследил меня на мою квар-

тиру, откуда я сбежал. Я был в полном отчаянии, но в то же мгновение совершенно неожиданно вижу — идет по улице А. Д. Михайлов. Я выскочил из вагона с другого конца и побежал вдогонку. Догнал. Прохожу быстро мимо и говорю, не поворачивая головы: „меня ловят“. Александр Дмитриевич, не взглянувши на меня, ответил: „иди скорее вперед“. Я пошел. Он, оказалось, в это время осмотрел, что такое со мною делается. Через минуту он догоняет меня, проходит мимо и говорит: номер 37 во двор, через двор на Фонтанку номер 50, опять во двор, догоню. (Номера, впрочем, я уже позабыл). Я пошел, увидел скоро № 37, иду во двор, который оказался очень темным, с какими-то закоулками, и в конце концов я неожиданно очутился на Фонтанке... Тут я в первый раз поверил в свое спасение... Торопясь, я даже не следил за собою, а только старался, как можно скорее, идти. Скоро по Фонтанке оказался крутой заворот, а за ним номер 50,—прекрасное место, чтобы исчезнуть неожиданно. Вхожу во двор, а там уже стоит Александр Дмитриевич; оказалось, что дом также проходной в какой-то переулок. „Выходи в переулок“, говорит Александр Дмитриевич, „нанимай извозчика куда-нибудь поблизости от такой-то квартиры“, сам же выбежал на Фонтанку и осмотрелся. Пока я нанял извозчика, он возвратился и отвез меня на квартиру, где я и остался».

И такой конспиратор и знаток Петербурга был сам арестован так, что трудно себе представить. Из существующих двух версий ареста А. Д. Михайлова берем ту, которую приводит в своих воспоминаниях А. П. Корба.

«Александр Дмитриевич очень заботился о том, чтобы сохранилась для истории память о погибших товарищах. Главный архив, куда он бережно сносил письма, воспоминания и карточки погибших, помещался у одного чиновника. Этот добрый человек, вероятно, давно умер, так как в то время был глубокий старик. Старания Александра Дмитриевича сберечь для потомства карточки товарищей, павших в бою, и послужили причиною его собственной гибели. Накануне того дня, когда он отнес карточки Квятковского и Преснякова к фотографам на Невском, он виделся с несколькими студентами и просил их заказать снимки карточек в любой фотографии. До того времени переснимки

частопрактиковались и всегда совершались беспрепятственно. Отказ студентов глубоко возмутил Александра Дмитриевича: он увидал в нем проявление трусости и нежелание подвергать себя малейшей опасности. Поддавшись чувству раздражения, он на другой день сам понес карточки к фотографам. Когда он явился в указанное время к одному из них, жена фотографа встала за спиною мужа, взглянула в упор на Александра Дмитриевича, рукой провела по своей шее, давая ему знать, что ему грозит виселица. Он ушел из фотографии, сказав, что вернется на следующий день. Когда он сообщил об этом Исполнительному Комитету, его рассказ был встречен возгласами изумления и недовольства. Ему напомнили его роль оберегателя безопасности партии и взяли с него слово более не возвращаться в фотографию. На другой день, проходя по Невскому проспекту мимо проклятого места, вероятно, у него мелькнула мысль, что он неверно понял предупреждение жены фотографа, может быть, он сам себя упрекнул в трусости или же вспомнил, как счастливо уходил от всех опасностей, встречавшихся в жизни. Как бы то ни было, он вошел в фотографию, и произошла сцена ареста, нами только что описанная.

«Народоправление — переход верховной власти в руки народа,—так формулировал свои убеждения А. Д. Михайлов на суде: задача партии способствовать переходу и упрочению верховной власти в руках народа. Что касается средств, то на Липецком с'езде все собравшиеся единодушно высказались за предпочтительность мирной идейной борьбы; но тщетно напрягали они свои умственные силы, чтобы найти при существующем строе какую-либо возможность легальной деятельности, направленной к вышеозначенной цели. Таких путей не оказалось. Тогда, в силу неизбежной необходимости, избран был революционный путь, намечены были революционные средства. Решено было начать борьбу с правительством. В главные средства этой борьбы было включено и цареубийство, но не как личная месть тому или другому императору, а как неизбежная необходимость, вытекающая из условий действительности».

И в этой борьбе с императором Александром II — А. Д. Михайлов принимал самое горячее, самое энергичное участие. Он был на Дворцовой площади, когда в Александра II

стрелял Соловьев; он видел, как самодержец России в испуге от выстрелов сначала присел, а потом пополз на четвереньках; далее А. Д. Михайлов, после Липецкого с'езда, устраивал неудавшийся взрыв Каменного моста через Екатерининский канал, организовывал подкоп под полотно Московско-Курско-Харьковской железной дороги и принимал чуть ли не главное участие в организаторской работе после тех провалов, которые приходилось переносить партии «Народной Воли».

Особое присутствие Сената приговорило его к смертной казни через повешение, к этому наказанию из 20 участников было приговорено 10, в том числе 2 женщины: Суханов, Михайлов, Колодкевич, Исаев, Фроленко, Емельянов, Тетерка, Клеточников, Лебедева и Якимова. Александр III заменил для всех, кроме лейтенанта Николая Евгеньевича Суханова смертную казнь бессрочной каторгой.

Сперва Алексеевский равелин Петропавловской твердыни, а затем Шлиссельбургская крепость приняла в свои тайники Александра Дмитриевича Михайлова, но он не мог вынести одиночного заключения и менее, чем через два года, умер.

Но гостинница «Москва» давала приют не одному Михайлову: 14 января 1877 года в ней остановился Антон Токсиль, принимавший участие в покупке того знаменитого «Варвара», о котором была уже речь; 24 сентября 1879 года здесь проживал Сергей Иванович Мартыновский, вскоре арестованный на другой своей квартире вместе с паспортным бюро „Народной Воли“; наконец в начале 1881 года здесь проживали по подложным паспортам,—гомельский мещанин Айзик Борисович Арончик и Фесенко-Навроцкий; под этой двойной фамилией скрывался Николай Саблин, который застрелился при обыске 3 марта 1881 г. квартиры на Тележной ул.

Мы снова вышли на Невский проспект, по которому и продолжаем наше путешествие, вернувшись сперва немного назад, к Аничкову мосту. Здесь на углу возвышается громадный пятиэтажный дом, домовой участок которого выходит и на Литейный проспект (планшет VI, № 17). Из переписки Плетнева с Гротом узнаем, что в этом доме, в 40-х годах,—Плетнев называет этот дом, конечно, иронически, „литературным“—проживали следующие литераторы:

Фаддей Булгарин, Андрей Краевский, Виссарион Белинский, И. И. Панаев и М. Я. Яковлев.

Невероятное соединение! Фаддей Булгарин—главный редактор „Северной Пчелы", один из сотрудников Бенкендорфа, знаменитого начальника знаменитого III отделения, Виссарион Белинский—неистовый Виссарион русской прогрессивной мысли и Андрей Краевский—будущий редактор-издатель „Голоса", прародителя русского либерализма.

Искренно ненавидевшие друг друга три деятеля русской литературы мирно обитали под одною кровлею одного из самых больших домов Петербурга, долгое время принадлежавшего уезд. городку Ярославской губ.—Ростову Великому.

На той же Фонтанке, не доходя Цепного моста у Летнего сада (этого Цепного моста не существует, вместо него построен временный мост, „временно" существующий, кажется, второй десяток лет), имеется исторический дом—дом министерства внутренних дел, № 16, дом, более известный под именем III отделения; участок, занимаемый им, выходит и на Пантелеймонскую улицу, так как он составлен из двух прилегающих друг к другу дворовых участков.

Первым владельцем участка на Фонтанке был екатерининский вельможа Талызин, сестра которого, выйдя замуж за графа Остермана, принесла ему в приданое, это место. Граф Остерман и выстроил в самом конце XVIII века дом, который впоследствии был переделан в стиль empire. По крайней мере, уже в 1798 году читаем следующее об'явление: «Медик коллежский ассесор Флейшер, который лечит всякого роду сильные нутренние (т. е. внутренние) и наружные болезни без из'ятия, сим публике извещает, что он лечит неимущих без платы, которые и могут к нему во всякое время являться. Жительство же он имеет по Фонтанке, против Михаиловского замка в доме его сиятельства графа Остермана, № 123»—Медик этот жил в доме графа Остермана и в 1799 году. В 1806 году 5 июня граф Остерман продал свой дом за 100 т. р. Императорскому Военно-Сиротскому Дому для помещения воспитанниц девичьего отделения. Но это отделение вскоре закрылось, и дом перешел к новому владельцу, флигель-ад'ютанту князю Александру Яковлевичу Лобанову-Ростовскому. Покупка состоялась 21 октября 1816 года за 225 т. рублей, таким образом,

втечение 10 лет (с 1806 года—продажа дома Остерманом, по 1816 год—покупка его Лобановым) стоимость дома увеличилась в $2^1/_4$ раза.

Князь Лобанов, женатый на богатейшей невесте России, графине Клеопатре Ильинишне Безбородко, произвел капитальный ремонт дома, придал ему сохранившуюся до нашего времени внешность строгого empir'a и жил в нем до тех пор, пока не был устроен для него архитектором Монфермом роскошный дом против Исаакиевского собора, дом со львами.

Князь Лобанов-Ростовский был одним из любопытнейших представителей коллекционерства, причем он собирал, главным образом, все, что касалось Марии Стюарт. У князя была дивная коллекция портретов несчастной шотландской королевы, многие реликвии ее и ряд предметов, имеющих то или иное отношение к Марии Стюарт.

Почему князь специализировался в этой области, откуда у русского царедворца появился культ Марии Стюарт,—мы не знаем, но, во всяком случае, это обстоятельство небез'интересно для истории нашей культуры. Не успел выехать из дома один коллекционер, как на его месте поселился другой. Князь Лобанов-Ростовский продал свой дом 18-го июля 1819 года, графу Виктору Павловичу Кочубею, который и умер в этом доме 3 июня 1834 года. Сын министра внутренних дел, член тайного комитета первых годов царствования императора Александра первого, графа Виктора Павловича,—граф Василий Викторович Кочубей был страстным нумизматом, владельцем богатейшей нумизматической коллекции. И в барском особняке в кабинете сына владельца собирались немногочисленные нумизматы 30-х годов прошлого столетия. Здесь они целыми ночами просиживали над какой-нибудь монетою, присланной из Казани или Астрахани, здесь они любовались действительно богатейшим собранием графа Кочубея и старались, на основании маленького потертого кусочка металла, восстановить прошлое, давно сошедшую со сцены действия историческую жизнь.

9 мая 1838 года дом графа Кочубея был приобретен правительством для шефа жандармов. В него переселилось III-е отделение. Сам дом не испытал изменения,—воздвигался лишь ряд надворных построек, строилось большое здание для архива, строились помещения для служащих;

архитектором был главным образом небезызвестный Садовников. Наконец, 22 декабря 1875 года было освящение церкви св. Екатерины...

Сейчас же после революции сотрудник одной петербургской газеты посетил полуразрушенное здание департамента полиции, былого III отделения, и оставил очень любопытные впечатления этого посещения. Считаем вполне уместным напомнить их читателю, делая значительные выписки из этих, хотя мимолетных, но имеющих значение непосредственных, впечатлений.

«Главный под'езд с Фонтанки. Подымаемся по лестнице убранной тропическими растениями и мебелью ампир (белая с золотом): торжественно, но несколько театрально! Маленькая прихожая, несколько лестниц, новая дверь и вход в домовую церковь. На правой стене, к алтарю, мраморные доски с именами „невинно“ убитых жандармов в 1905 и другие года. Далее—узкая продолговатая комната ампир, вся увешенная портретами императоров во весь рост, за нею великолепно выдержанная в русском стиле XVII века столовая, дальше большой светлый зал с тропическими растениями, роялью и неизменными царскими портретами—это главные аппартаменты квартиры министра внутренних дел, из которой двумя ходами можно проникнуть и в самый департамент полиции поместившийся в 4-х этажах.

Первый этаж—казначейская, второй—картотека (книга живота), этажем выше—бухгалтерия и секретные отделы, в четвертом этаже, направо от лифта, по корридору—библиотека нелегальных изданий, снова секретные отделения, куда вход был строго воспрещен даже служащим других отделов, отдел перлюстрации писем и иных документов. Налево в разных этажах кабинеты директоров, вице директоров канцелярии, приемная, словом — распорядительные центры.

Второй этаж. Огромный высокий зал. Основная часть этого зала занята дубовыми невысокими шкафчиками с выдвижными ящичками—это картотека. Здесь „книга живота“. Если вы потеряли свой паспорт и этим навели на себя какую-либо тень подозрения, если вы соприкасались с миром какой-либо политической партии, если вы выступали хотя раз публично, если вы подписали политическое воззвание хотя бы по славянскому вопросу, если вы—

общественный деятель, если вы—рабочий, городовой, студент, земский начальник, фельдшер, дочь или жена полковника, если ваши родственники или свойственники пользовались у вас приютом, будучи в чем либо замешаны,—знайте: вы зарегистрированы, о вас есть уже пометка в „книге живота“.

Точная пометка! Вас разыщут, о вас наведут любую справку и составят на сером печатном бланке вашу характеристику в пять минут.

Ни один архив ученого учреждения, запущенный, заброшенный, содержимый на жалкие гроши, никогда не был в состоянии проделать подобное.

Сто лет тратились народные деньги на борьбу с народом, на белые, зеленые, синие папки с делами, на картонные коробки, в которых хранятся эти дела, на кропотливое ежедневное разнесение по карточкам «преступников» и «посягателей» на «незыблемые вековые устои». Сколько сил, ума, таланта, жизней, слез, огорчений похитили эти карточки из среды русского народа!

Третий этаж — самый зловредный: этаж политического сыска, этаж, где хранились дела и карточки «личного состава», между прочим, агентов-провокаторов, или, по невинной жандармской терминологии,—«сотрудников».

Здесь же наиболее пикантная библиотека. Текущие журналы, выходившие за границею, воспоминания, текущие газеты. Все это просматривалось. Все, нужное для целей сыска, отмечалось. Например, в некоторых книгах или газетах подчеркнуты имена, фамилии, клички, факты: ведь, революционеры были иногда болтливы, а неосторожный намек, глядишь, приводил к желанному результату.

На самом верху, в четвертом этаже, у Бога под небом— тоже разные секреты. Здесь производилась расшифровка писем, а также перлюстрация. Целые шкафы заняты регистраторами, в них на писчих листах бумаги в строгом алфавитном порядке выписки из писем разных российских граждан. Все точно: кто к кому писал, откуда, куда, дата. А у регистраторов карточная система. Любые справки—в минуту. Кроме того, фотограф департамента делал снимки с важных писем. А это уже не копия, хотя и на пишущей машине! Негативы хранились, а отпечатки наклеивались на писчие листы бумаги: с одной стороны содержимое письма, а с другой адрес на конверте.

В этом же этаже помещалась библиотека конфискованных, отобранных при арестах и купленных за границею книг.

Но не только политика интересовала департамент полиции, его занимали и другие вещи. Например, громадное собрание порнографических карточек от „самоновейших“ „парижского жанра“ до переснимков с акварелей и карандашных рисунков наших прадедов.

И в третьем отделении, и в департаменте полиции «задерживаемые» долго не засиживались. Их переправляли или в крепость, или в дом предварительного заключения. Но несколько дней и ночей иногда приходилось коротать в знаменитом третьем отделении. Это пребывание колоритно, красиво описано Поливановым в его воспоминаниях:

«Карета остановилась перед воротами бывшего III отделения собственной его императорского величества канцелярии, где, по упразднении III отделения, остался штаб корпуса жандармов. Сквозь стекло оконца калитки показалась чья-то физиономия, затем ворота сейчас же распахнулись, и мы в'ехали на знакомый мне двор: налево тянулось одноэтажное здание, где находились прежде квартиры каких-то служащих в этом учреждении. Затем, под прямым углом от этого здания, шло поперек двора, разделяя его на две части, другое здание четырехэтажное, с пролетом посредине. Я тотчас же узнал в этом здании первый под'езд с левой стороны, так как в 1878 году меня возили сюда на допрос, и я вспомнил, что над первой дверью площадки второго этажа была прибита дощечка с надписью «Канцелярия для производства дел о преступлениях государственных».

Мы поднялись на эту площадку, где, попрежнему, над первою дверью виднелась вышеупомянутая надпись. Но, минуя эту дверь, жандармы повели меня по корридору направо, в конце которого оказалась дверь, ведущая в какую то прихожую. Там висели два-три пальто, стоял зонтик и палка, а на диване против двери дремал какой-то старый, престарый хрыч в зеленом двубортном сюртуке с бронзовыми пуговицами,—должно быть, так называемый курьер. Он быстро вскочил на ноги, протер глаза и, перешепнувшись со старшим унтером, пошел докладывать о нашем прибытии в соседнюю комнату—дверь в которую была открыта настеж.—

молодому человеку, очевидно, дежурному чиновнику, который в это время был занят надписыванием чего-то на бланках, лежавших перед ним целой грудой. Молодой человек встал, посмотрел на меня с любопытством и ушел куда-то во внутренний аппартамент, откуда вернулся через две—три минуты в сопровождении благообразного бритого старика.

„А за офицером послали уже?"—спросил старичок.

„Они сейчас будут", доложил хрыч.

И, действительно, почти сию же минуту где-то послышался лязг и звон: затем распахнулась дверь, и вошел молодой жандармский офицер с громадною лысиною, совсем даже не по чину: он был всего только поручик. Этот офицер был обвешен всеми бирюльками полной жандармской формы: металлические эполеты, аксельбанты, металлическая ладунка, шарф, портупея, шашка, револьвер—все это при каждом движении звякало и сверкало, что, видимо, очень нравилось бравому поручику. Грациозно склонив голову несколько в бок и щелкнув шпорами, он поздоровался со мною; а затем подошел к старому чиновнику, и они заговорили вполголоса. Потом, обратившись ко мне и снова щелкнув шпорами, сказал: „прошу пожаловать"; жандармам он скомандовал: „сабли-вон!".

Впереди шел жандарм с обнаженной шашкой, сзади—жандарм с обнаженной шашкою, а сбоку офицер. Мы спустились на двор, вошли в под'езд с надписью „Казначейская", потом, войдя во второй этаж, повернули в корридор направо, и я очутился в комнате дежурного офицера, как значилось над дверью.

Поручик сначала величественно скомандовал: «сабли в ножны!» Затем любезно усадил меня, предложил папиросу и стал заносить в книгу опись моих вещей. Потом он сказал с очень милой улыбкой, что меня надо обыскать. Когда все было окончено, поручик предложил мне следовать за ним, снова скомандовал: „сабли вон!"—и снова началось шутовское шествие. Когда мы взошли на площадку третьего этажа, там сейчас же, словно по мановению волшебного жезла, распахнулись двери и справа и слева. За этими дверями были видны вторые, решетчатые, железные двери, за которыми стояло по жандарму с обнаженной шашкой.

Офицер повернул направо, и меня поразила физионо-

мия часового, который, услыхав, очевидно, наши шаги, открыл через решетку наружные двери. Молодой, еще безусый, с ухарски заломленной набок бескозырной фуражкой, с наглым выражением полного и румяного лица и выпуклых бычачьих глаз—он показался мне типом опричника. По знаку офицера опричник отпер замок и распахнул внутреннюю дверь. Мы вошли в корридор, где слева шла глухая стена, а справа—ряд камер.

Проходя мимо двери № 1, я был удивлен тем, что она была не только заперта, но и запечатана. Замок был обвязан бичевкой, концы которой были припечатаны к четвертушке бумаги. Ничего подобного ни у меня, ни у моего соседа в № 3 не было, и кто сидел в № 1—я и до сих пор не знаю.

Дверь № 2 была распахнута, и, войдя в назначенную мне камеру, я был приятно удивлен ее уютным видом, столь непохожим на все тюремные помещения, которые я видел на своем веку.

Моя камера представляла из себя большую комнату в два окна—стекла которых оказались, однако, матовыми; но я это заметил не сразу. Между окон стоял письменный стол с ящиком, а перед ним стул. Вместо обычной лампы, на столе стояла стеариновая свеча. Пол был деревянный, крашеный. Налево от двери находилась круглая печь, обитая железом, а у правой стены помещалась вполне приличная железная кровать с медными шариками на столбиках в головах и ногах. Постель была покрыта хорошим байковым одеялом. Даже дверь с обычною медною ручкою не имела бы вида тюремной двери, если бы в ней не было прорезано четырехугольное отверстие со стеклом, забранное внутри медною решеткою, а снаружи закрывавшееся черною заслонкою. Меня попросили раздеться, дали хорошее тонкое белье с клеймом Ш. К. Ж., т. е. штаб корпуса жандармов, туфли и щегольской синий халат на красной подкладке. Поручик предложил мне прислать чаю, заметив, что свечу тушить нельзя, нельзя также иметь собственных папирос, вместо которых даются казенные... Затем, щелкнув шпорами и пожелав спокойной ночи, офицер вышел. Через несколько минут мне принесли на подносе две кружки чая и маленький розанчик. Хотя чай оказался не горячим, а только теп-

лым, все же я выпил его не без удовольствия и, закурив казенную папиросу, стал ходить из угла в угол... И я долго—долго не мог сомкнуть глаз; под утро усталость взяла свое» и я заснул.

Утром меня разбудил стук отпираемой двери. Я протер глаза и увидал трех жандармов. Один держал в руках таз, другой полотенце и рукомойник, а третий—унтер-офицер—играл роль наблюдателя. Жандармы подали мне умыться, наскоро подмели пол и принесли чай, оказавшийся на этот раз горячим, и для разнообразия, вместо розана, булку. Напившись чаю, я занялся осмотром моего нового помещения, которое было бы похоже на номер гостинницы, если бы не оконце в двери, да не матовые стекла в окнах. Около 12 часов принесли обед; обед был довольно скверный, ценой в четвертак, взятый в плохой кухмистерской: дали мне бифштекс, жесткий-прежесткий, только барбосу какому-нибудь жевать впору, а суп—какой-то брандахлыст, в котором плавала ненавистная мне вермишель... Часа в три-четыре, по моим соображениям, мне подали чаю...»

В тот же день Поливанов был увезен в крепость, сперва в Трубецкой, а затем в Алексеевский равелин. Воспоминания об этих местопребываниях героев нашей революции мы приведем ниже. А теперь по Пантелеймонской улице выйдем на Литейный проспект, по которому и направимся к Невскому проспекту. Внимание наше должен привлечь к себе дом на левой стороне Литейного проспекта, под № 32; это был дом Юргеса (планшет V, № 40), который в 1861 году имел № 27; в нем квартировал тогда Добролюбов. Достаточно посмотреть на внешность этого небольшого трехэтажного домика, на милый узор украшений карниза, протянутого по фасаду, чтобы с уверенностью сказать, что внешность этого домика не изменилась не только с того времени, когда в нем жил Добролюбов, но еще с гораздо раньшего времени: домик этот выстроен бесспорно в царствование Александра I. Нахождение здесь квартиры Добролюбова заставляет помянуть демонстрацию, которая была произведена 17 ноября 1886 года, в день 25-летия со дня смерти знаменитого русского критика, автора «Светлый луч в темном царстве».

Приведем рассказ одного из демонстрантов.

«С самого утра 17 ноября толпы учащейся молодежи—студентов и курсисток—начали сходиться с венками в руках к вагонам конки, ведущим по направлению к Волкову кладбищу. Места в вагонах брались с боя, так как, в виду ожидавшегося громадного наплыва публики, каждый старался заранее добраться до кладбища, чтобы занять место поближе к могиле знаменитого писателя. Но все эти хлопоты оказались напрасными, ибо прибывшие встретили у входа на кладбище сильный наряд полиции, не позволявшей им проникнуть во внутрь.

Между тем, вагоны конки продолжали каждые 5—10 минут подвозить десятки людей, все более и более увеличивавших собою толпу, собравшуюся у ворот кладбища. Переговоры с полициею ни к чему не приводили. Решено было отправить депутатов к градоначальнику Грессеру, чтобы убедить его отпереть ворота. Тот решительно воспротивился этому. Но в конце концов полиция сделала маленькую уступку: пропустили небольшую депутацию с венками для возложения их на могилу Добролюбова. Оставшиеся же перед решеткой стройно пропели „Вечную память“.

Но уже раздраженные грубым вмешательством полиции, манифестанты не могли больше скрывать закипевшее в них чувство протеста, которое и не замедлило вылиться в форму открытой политической демонстрации. Послышались звуки революционных песен и гимнов; один из участников демонстрации, бывший тогда студентом военно-медицинской академии, доктор Фейт, взобрался на фонарь и произнес перед толпой и на глазах смущенной полиции речь политического характера.

После возвращения депутации с могилы, решено было всею толпою двинуться к Казанскому собору и там отслужить панихиду. Конвоируемая полицией, многочисленная толпа демонстрантов, под громкие звуки революционных песен, сменявшихся провозглашением „Многая лета“ жившим еще в то время великим изгнанникам П. Л. Лаврову и Н. Г. Чернышевскому, направилась по Лиговскому каналу к Невскому проспекту, возбуждая интерес и любопытство уличной публики неожиданностью и необычайностью происходящего. Первая кратковременная остановка демонстрантов

произошла в момент появления Грессера, выехавшаго навстречу толпе. Выйдя из своих саней, он думал остановить ее словами увещания и убедить ее разойтись. Но, после минутного замешательства, вся толпа, охваченная одним чувством возмущения, начала наступать на градоначальника, который быстро ретировался под дружным натиском демонстрантов и поспешно умчался в поджидавших его санях.

После исчезновения Грессера, демонстранты, под звуки тех же революционных песен, продолжали свой путь. Подходя уже к Знаменской площади, они заметили приближавшийся им навстречу отряд конных казаков, вооруженных пиками. Врезавшись в узкое пространство между сплошною линиею домов с одной стороны и набережной не засыпанного еще в то время канала, казаки под'ехали вплотную к двигавшейся толпе, которая вынуждена была остановиться, оказавшись замкнутой и в арьергарде цепью конвоировавших ее полицейских.

Становилось темно. Моросил мелкий осенний дождик, кропивший продолжавших стоят среди улицы проголодавшихся и продрогших манифестантов; а Грессер не торопился отдавать распоряжение об освобождении арестованных. Но вот, наконец, явился он и сам. Из соседнего дома принесли простой деревянный стол и табурет, на который Грессер сел. Затем он предложил демонстрантам расходиться, выходя из цепи по одному. Публика, отчасти опасаясь быть арестованною по-одиночке, отчасти же желая довести свой протест до конца, потребовала от Грессера чтобы он удалил полицию и предоставил ей расходиться по домам, как ей будет угодно. Но градоначальник на это не согласился. Публика, с своей стороны, тоже упорствовала. Наступил момент выжидания, сменившейся минутой колебания и завершившийся наконец отступлением большинства демонстрантов, изнуренных целым днем голода и усталости. Но все же подобралась небольшая кучка демонстрантов, в несколько десятков человек, которые не хотели расходится иначе, как все вместе. На этот раз уступить пришлось уже полиции, и упорствующие были освобождены и отпущены все сразу. Уходя с места пленения небольшими группами в 2—3 человека, мы некоторое время крутились по улицам Петербурга и, убедившись, что ни явная, ни тайная полиция нас не пресле-

дует, разошлись по домам. В день демонстрации полиция задержала всего несколько человек, которые были освобождены поздно вечером того же дня. Но втечение нескольких последующих дней по поводу „Добролюбовской демонстрации“ среди студентов производились обыски и аресты, во многих случаях закончившиеся высылкою из Петербурга».

Следующий дом по Литейному проспекту, на который нужно обратить внимание—угловой по Бассейной улице, не переходя последнюю, в настоящее время № 36 (планшет V, № 41).

Но прежде—несколько слов для об'яснения происхождения названия Бассейной улицы. Это название получилось вот по какой причине: желая иметь в своем Летнем саду фонтаны, Петр Великий провел Лиговский канал, который заканчивался довольно большими бассейнами, находящимися на месте так называемых прудков. Из этих бассейнов, по открытым деревянным трубам, вода шла к нынешнему Пантелеймонскому мосту, где стояли две водопроводные башни, на которых вода поднималась самотеком; из этих башен, помощью труб, перекинутых через Фонтанку, вода подавалась в фонтаны Летнего сада. Направление этих открытых деревянных труб и определило положение нынешней Бассейной улицы; эти же фонтанные трубы дали название сначала «Фонтаннал река», а потом и попросту «Фонтанка».

Дом на углу Бассейной славился своими жильцами издавна; так, в 1814 году мы читаем следующее об'явление: «Угловой на Литейную и Бассейную улицу каменный двухэтажный дом № 243, наниманный прежде Дюком-де-Сарро-Капрюлли, а потом господином действительным тайным советником Василием Васильевичем Энгельгардтом долгое время по контракту, состоящий из 26 чистых покоев, хорошо расположенных и теплых, с принадлежащими в большом количестве службами внизу, отдается в наем».

С 40-ых годов прошлого столетия этот дом принадлежал Абраму Сергеевичу Норову, русскому герою моряку, потерявшему на поле брани одну ногу и ковылявшему на деревянной, литератору, автору «Путешествия на Восток» и наконец министру народного просвещения.

Дом от Норова перешел к Андрею Андреевичу Краевскому—редактору «Голоса».

«Голос» — была первая газета в России в полном смысле этого слова, газета, к мнению которой прислушивались на Западе, с которой считалось общество в России, и всеми средствами боролось правительство.

«Голос» — выразитель мнения умеренной либеральной буржуазии, обращал особенное внимание на заграничную жизнь; во всех главных центрах земного шара у «Голоса» были свои собственные корреспонденты, освещавшие под определенным углом зрения европейские события. И если цензора—«Голосу» приходилось выходить и с предварительною цензурою — не пропускали почти никаких сведений из внутренней жизни, то на сообщения о западно-европейских событиях смотрели более благосклонно.

Это отношение очень характерно и может быть наблюдаемо не с одним только «Голосом», а почти со всею русскою прессою, с начала ее существования. Если вы возьмете «С.-Петербургские Ведомости» за XVIII век, вы встретите массу перепечаток из заграничных изданий,—корреспонденции же из городов России заключают в себе только описание празднований высокоторжественных дней рождения, именин (или, как выражались, тезоименитств), коронаций высочайших особ, далее—открытий всевозможных правительственных учреждений, по мере введения той или иной реформы, открытий школ, фактов особой благотворительности и, наконец, примеров долголетия или чрезвычайных родов. Никакие иные события внутренней жизни не попадали на столбцы газеты.

И это делалось сознательно — несообщением фактов о внутренних событиях думали усыпить общественную мысль, думали приостановить общественное развитие: все де обстоит благополучно, так что не о чем писать.

В доме Краевского, как свидетельствуют в настоящее время две мраморные доски, жили и умерли Некрасов и Пирогов. После смерти Краевского дом перешел к его дочери, Ольге Андреевне Бильбасовой, жене известного русского историка, работавшего главным образом по царствованию Императрицы Екатерины II. Первый том этой истории так и не был допущен к обращению в России.

Наконец, в этом же доме жили долгое время Н. Н. Фигнер, известный артист-певец, и не менее известный электротехник Яблочкин, изобретатель электрической свечи.

Вот сколько имен связано с этим небольшим угловым домиком на Бассейной улице. И в доме, бывшем Краевского, по моему мнению, должен был бы возникнуть «Музей периодической печати». Ах, какой это был бы любопытный музей! В нем можно было бы проследить, как московские писанные куранты превратились в «С.-Петербургские Ведомости», как эти ведомости росли, развивались и стали левиафаном-газетой. Здесь надо было бы в витринах разложить гранки, перечеркнутые красным карандашом, гранки, дающие дивную иллюстрацию угнетения и терзания русской мысли; на стенах развесить портреты как больших деятелей прессы, так и незначительных, вплоть до маленького корреспондента, хроникера или совершенно неизвестного широкой публике газетного метранпажа

Какой это был бы любопытный музей... И дом Краевского, в котором жили и действовали столько литературных сил и помещались редакции главнейших органов печати, был бы вполне подходящим домом.

Наконец, нужно отметить и другой дом, бывший православного ведомства (дом, в котором умер Добролюбов, и о котором мы упоминали выше, последнее время принадлежал также духовному ведомству) по той же стороне Литейного проспекта, за улицею Жуковского, когда-то Малой Итальянской,—дом № 62 (планшет VI, № 76). В этом доме жил злой гений русской жизни, обер-прокурор святейшего синода К. П. Победоносцев. Здесь, в этом доме, в Победоносцева неудачно стрелял Лаговский.

По Литейному проспекту мы снова дошли до Невского по которому и пойдем по направлению к Знаменской площади. Перейдя Надеждинскую улицу — она когда-то звалась Шестилавочною и оканчивалась тупиком, не доходя до Невского проспекта — увидим дом № 1 по Надеждинской и № 96 по Невскому (планшет VI, № 26). В этом доме были меблированные комнаты, и в них проживал Николай Васильевич Клеточников, деятельность которого в партии «Народной Воли» носила совершенно особый характер.

Отставной коллежский регистратор Николай Васильевич Клеточников, уроженец города Пензы, по окончании курса в Пензенской гимназии, сначала слушал лекции в Московском университете в качестве вольнослушателя, а затем по-

ступил в число студентов С.-Петербургского университета, который оставил по расстроенному здоровью и уехал на родину в город Пензу. В 1870 году, прибыв в Крым для лечения, он остался там на службе и занимал должности письмоводителя ялтинского уездного предводителя дворянства и секретаря ялтинского с'езда мировых судей. В 1873 году Клеточников, получив небольшое наследство от родителей, ездил за-границу на Венскую всемирную выставку. В 1876 году, соскучившись в городе Ялте, он перешел в Симферополь на должность кассира местного общества взаимного кредита с жалованьем в 1000 рублей. В сентябре 1877 года, желая окончить курс высшего учебного заведения, он переехал в С.-Петербург и поступил вольнослушателем в медико-хирургическую академию, но, отвыкнув от учебных занятий, должен был оставить академию и отправился в Пензу к родным.

Как видим из этих биографических данных, перед нами незаурядный провинциальный чиновиник, видимо, большой работник, которого ценят и желают иметь на службе. Но в то же время этот чиновник является большим непоседою, не может удовлетвориться карьерой провинциального чиновника, покидает свои „хорошие“ места, уезжает то в столицу, то заграницу и, как бы взыскуя „града иного“, пытается закончить свое высшее образование.

Попав в октябре месяце 1878 года в последний раз в С.-Петербург, Н. В. Клеточников встретился с Александром Дмитриевичем Михайловым, и эта встреча дала смысл дальнейшему существованию Клеточникова. А. Д. Михайлов, опытный организатор, не мог не обратить внимания на Клеточникова и постарался с ним сблизиться. Между прочим, Михайлов указывал, что «прежняя деятельность революционеров отчасти была неудачна и потому, что революционеры действовали и без особой охраны от шпионов, и что в этом последнем отношении Клеточников, как не навлекший на себя никакого подозрения со стороны правительства, может оказать большие услуги партии». Михайлов предложил Клеточникову поселиться в доме Яковлева на углу Невского и Надеждинской улицы, где, по наблюдению Михайлова, проживали агенты III отделения, и сойтись с ними для целей партии. Клеточников согласился, нанял комнату у проживавшей в том доме Анны Кутузовой, стал ее часто посещать, причем

своим тихим поведением, щедростью и проигрыванием в карты успел так расположить ее в свою пользу, что она рекомендовала его бывшему чиновнику III отделения, впоследствии заведывавшему 3-ей экспедицией этого учреждения, г. Кириллову, который в январе 1879 г. принял Клеточникова в секретные агенты с жалованием 30 р. в месяц. В марте того же года Кириллов перевел его для письменных занятий в так называемое «агентурное отделение» при 3-ей экспедиции, где он скоро получил штатную должность помощника делопроизводителя. Такое служебное положение Клеточникова, свойство его занятий, особенное доверие его непосредственного начальства открыли ему свободный доступ ко всем наиболее секретным делам и распоряжениям по отношению к обнаружению и преследованию государственных преступлений и лиц, обвиняемых в них. Так, он составлял и переписывал секретные записки о результатах агентурных наблюдений, шифровал и дешифровал секретные телеграммы, вел переписку о лицах, содержащихся в С.-Петербургской крепости, и пр. Поэтому Клеточников был посвящен во все политические розыски, производившиеся не только в С.-Петербурге, но и во всей России. Все полученные таким образом сведения Клеточников передавал Михайлову, сообщал ему, за кем именно учреждено секретное наблюдение, предупреждал заранее о предположенных обысках, об'являл имена всех агентов,—вообще открывал партии Народной Воли все секретные данные, сосредоточенные в 3 экспедиции III отделения.

Таковы данные обвинительного акта. А вот что говорил о себе сам Клеточников, который судился в известном процессе 20-ти

«До 30 лет—так начал свою речь-показание Клеточников,—я жил в глухой провинции, среди чиновников, занимавшихся дрязгами, попойками, вообще ведших самую пустую, бессодержательную жизнь. Среди такой жизни я чувствовал какую-то неудовлетворенность, мне хотелось чего-то лучшего. Наконец я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень общества не был выше. Я стал искать причин такого нравственного упадка и нашел, что есть одно отвратительное учреждение, которое развращает общество, которое заглушает все лучшие стороны человеческой натуры и вы-

зывает к жизни все ее пошлые, темные черты. Таким учреждением было III отделение. Тогда, г. г. судьи, я решился проникнуть в это отвратительное учреждение, чтобы парализовать его деятельность. Наконец мне удалось поступить туда на службу... Итак, я очутился в III отделении, среди шпионов. Вы не можете себе представить, что это за люди! Они готовы за деньги отца родного продать, выдумать на человека какую угодно небылицу, лишь бы написать донос и получить награду. Меня просто поразило громадное число ложных доносов. Я возьму громадный процент, если скажу, что из ста доносов один оказывается верным. А между тем почти все эти доносы влекли за собою аресты, а потом и ссылку.. Так, например, однажды был сделан донос на двух студенток, живущих в доме Мурузи. Хозяйка квартирная была предупреждена, и, когда пришли с обыском, то она прямо сказала, что она уже предупреждена и не понимает, зачем к ней пришли. У студенток был произведен тщательный обыск, и хотя ничего не нашли, обе они были высланы. Таких случаев было масса. Я возненавидел это отвратительное учреждение и стал подрывать его деятельность: предупреждал, кого только мог, об обыске, а потом, когда познакомился с революционерами, то передавал им самые подробные сведения».

Председатель в это время обращается к Клеточникову с вопросом, и происходит нижеследующий диалог:

Председатель: Сколько вам платили за это?

Клеточников: Нисколько.

Председатель: На дознании вы показали, что брали от революционеров деньги.

Клеточников: На дознании я находился совсем в исключительных условиях, не в таких, в каких обыкновенно находятся обвиняемые, хотя бы и в политических преступлениях. Я находился под тяжелым давлением. Я был весь в руках своего начальства, всемогущего, озлобленного за то, что я так жестоко его обманул. В таком положении можно было и не то наговорить, на самом же деле я действовал глубоко убежденный, что все общество, вся благомыслящая Россия будут мне благодарны за то, что я подрывал деятельность III отделения...

Такова была деятельность Клеточникова. Суд приговорил его к смертной казни через повешение, которая была заменена каторгой без срока; Клеточников, больной чахоткой, конечно, не выдержал заключения в Шлиссельбурге и умер там.

Невский проспект упирается в Знаменскую площадь, теперь площадь Восстания (планшет VII, № 77). На этой площади мы можем полюбоваться памятником императору Александру III, работы Паоло Трубецкого.

Глядя на этот памятник, трудно себе представить, что это памятник, воздвигнутый „любящим сыном возлюбленному отцу“ для увековечения его заслуг перед отечеством, а не каррикатура, не злая насмешка... Во всяком случае, создать более злую сатиру на Александра III было мудрено, и этот памятник своим „мастодонтством“, если так можно выразиться, не только увековечил безотрадные 80-ые годы русской жизни, но и дает ключ к разумению тех событий, которые происходят сейчас на наших глазах...

И когда смотришь на эту „сверхестественную“ кобылу, которая могла вынести на своем хребте многопудовую тушу российского императора, когда видишь эту невероятную по толщине гору мяса и жира, тогда начинаешь сознавать всю ту массу зла, что принесено России ее монархами, и в сердце закипает та святая ненависть, то великое чувство негодования, которое, перебродив, превращается в чувство созидания, призывающее к сознательной плодотворной работе.

Знаменская площадь долгое время пользовалась очень дурной славой. Еще 1866 году, т. е. 53 года тому назад, петербургский-обер полицеймейстер издал приказ по полиции такого содержания:

„Стража от Аничкина моста до станции Николаевской железной дороги должна быть усилена в ночное время для пресечения грабежей, и кроме того подчаски ежедневно должны обходить Знаменскую площадь поочереди втечение всей ночи“.

Путешествие через Знаменскую площадь ночью 50 лет тому назад было своего рода геройством, подвигом; а в 1819 году, в первый день Рождества, вечером, в 9-м часу появился на Невском проспекте у с'езжего двора Каретной (впоследствии Александро-Невской) части бешеный волк,

набежал на пожарнаго смотрителя, осматривавшего фонари, сбил его с ног и, разорвав зубами левую его щеку, бросился бежать через Знаменский мост на Офицерскую, ныне Знаменскую улицу, пробрался на Бассейную, Сергиевскую, перебрался на Охту и после столь значительного и длительного путешествия был убит только против Смольного монастыря.

Если в начале XIX века на Знаменской площади можно было столкнуться с волком, то в первой половине XVIII века здесь же, на Знаменской площади, можно было полюбоваться другою диковинкою: можно было увидеть азиатских гостей—слонов.

Приблизительно на место нынешней Северной гостинницы в 1744 году перевели Аннинский слоновой двор, помещавшийся там, где теперь цирк Чинизелли, и на этом месте Слоновой двор просуществовал до 1778 года, когда вызывались желающие „звериные покои с бывшаго Слонового двора передать на Птичий двор и поставить на оном, кроме того, купить с публичного торгу слоновый амбар“. Вот почему нынешний Суворовский проспект долгое время носил название „Слоновый проспект“, тем самым напоминая петербуржцам о существовавшем когда-то Слоновом дворе.

Знаменская, а в последнее время Северная, гостинница была построена в средине 50-х годов, почти одновременно с открытием Николаевской железной дороги, первый поезд которой отошел в Москву 1 ноября 1851 года; первоначальным хозяином дома этой гостинницы был граф Стенбок-Фермор, один из любопытнейших представителей аристократии, пустившийся в различные аферы. Граф отличался любовью к строительству: кроме Знаменской гостинницы, им же был выстроен и пассаж.

О Знаменской гостиннице (планшет VII, № 28) впервые усиленно заговорили после 4 апреля 1866 года, т. е. после первого покушения на императора Александра II — покушения Каракозова.

«Четыре дня—читаем мы в записках современника,— никто ничего не знал о преступнике. Случай, как и всегда у нас, пришел на помощь юстиции. Где-то на улице один из переодетых агентов слышит, как в разговоре один господин говорит другому, что он, наверное, знает, что в Зна-

менской гостиннице живут темные люди без пред'явления паспортов. Послушав еще немного, агент вмешивается в подслушанный разговор и узнает от говорившего господина, что он знает человека, живущего в гостиннице и теперь без паспорта, и что возле его номера есть номер, три дня уже запертый, а бывший в нем жилец неизвестно куда скрылся. Немедленно полиция отправилась с этим господином в Знаменскую гостинницу. Показания относительно комнаты оказались справедливыми; запертую комнату открыли, и в ней нашли лишь шкатулку; но эта шкатулка сказала многое, ибо в ней оказались те же буквы, которые были на письме, найденном в пальто преступника; затем, у печки обратили внимание на клочки изодранного письма; клочки эти были подобраны и восстановлены, и из них составилось письмо, писанное кому-то в Москву Каракозовым».

Таким образом, выяснилось, что Каракозов, приехав из Москвы, остановился в Знаменской гостиннице. Но, кажется, гостинница особенно не пострадала за это, ее не закрыли, а, видимо, оштрафовали келейным образом.

Перейдя Знаменскую площадь, попадем на Гончарную улицу, где должны обратить внимание на дом № 7 (планшет VII, № 29). В этом доме, вследствие близости его к Николаевскому вокзалу, помещался ряд меблированных комнат. Около 28 ноября 1879 года около 10 часов вечера в квартиру № 29 пришел, сперва без вещей, некто, именовавший себя Голубиновым, нанял одну комнату, в которую через час приблизительно принес небольшой черный саквояж и небольшой кожаный же чемоданчик. На другой день утром он расчитался за сутки и комнату очистил, и притом так поспешно, что чуть не забыл у хозяйки своего паспорта, оставшегося, за краткостью времени пребывания у нее на квартире, непрописанным. А через несколько дней, тот же Голубинов снова появился в том же доме, но уже в другой меблированной квартире, под № 3 и 4. Здесь он опять снял небольшую комнату и принес с собою саквояж и чемоданчик. Переехал Голубинов 2 декабря, а в ночь на 4 декабря в квартире был произведен обыск, и Голубинов, оказавшийся канцелярским служителем Сергеем Ивановичем Мартиновским, арестован, а вместе с ним было арестовано и очень любопытное, своеобразное, но вполне необходимое для партии

„Народной воли“ учреждение, именуемое революционерами того времени „паспортным бюро“.

Кроме динамита, запалов, различных ядовитых веществ, ряда запрещенных изданий, у Мартиновского оказалось в чемодане:

1) три плакатных паспорта, открытый лист, четыре свидетельства, аттестаты и документы на имя разных лиц.

2) Сорок три листа и полулист бумаги разного формата и качества с написанными на них частью чернилами, частью карандашом проектами паспортов, различного рода свидетельств, аттестатов, указов, формулярных списков.

3) Семнадцать отдельных пакетов, в которых заключались отрезки от подлинных документов с подписями и печатями, снимки с подписей и печатей на бумаге для калькирования, образцы разных печатей, а также снимки копченые и сургучные.

Народовольцы почти все числились на „нелегальном“ положении, т. е. проживали по подложным паспортам. Паспорта эти приходилось фабриковать самим, причем, конечно, нужно было употребить все усилия, чтобы сфабрикованный паспорт как можно более походил на настоящий; для этого, конечно, нужно было иметь образцы печатей, подписей и т. д.—все это и хранилось у Мартиновского. У него же были найдены проект указа об отставке бывшего учителя Михаила Петрова Чернышева и проект свидетельства на преподавание в уездном училище, оба писанные карандашом, по сличении с отобранными, как и говорилось выше, у А. Квятковского документами, были найдены совершенно тождественными. А затем, при более тщательном изучении отобранного у Мартиновского материала, тайная полиция обратила особое внимание на черновой проект метрической выписи о бракосочетании отставного канцелярского служителя Луки Афанасьева Лысенко с дворянкою Софией Михайловой-Рогатиной—личностей, по справке в адресном столе оказавшихся на жительстве в Санктпетербурге по Саперному переулку д. № 10, кв. № 9.

Этот черновой проект, хранившийся, очевидно, по небрежности, использовали и вместо того, чтобы уничтожить сейчас-же, отложили в сторону, а там и совсем позабыли, пока его не нашла тайная полиция и не обнаружила очень важное народовольческое учреждение. Но об этом после, когда

дойдем до Саперного переулка, а теперь, пройдя по той же самой Гончарной улице дойдем до № 8—дом Брейтигама, он же № 93 по Невскому проспекту,—дом, таким образом, сквозной (планшет VII, № 30).

Здесь была квартира Дегаева, расположенная во дворе, в 3-м этаже, окнами на двор, с одним входом со двора же, из под ворот (по Гончарной). Квартира состояла из кухни, передней и трех расположенных амфиладой комнат. Здесь и произошло то убийство Судейкина, о котором мы говорили выше, сцену процесса убийства нам приходится восстановлять,—подчеркиваем, — с тяжелым чувством, так как эта картина слишком жестока и мрачна.

Дегаев раньше жил с женой, Судейкин часто посещал супругов по делам и без дела, ел и пил у них, засиживался до поздней ночи. Он являлся очень часто со своим племянником и вместе с тем казначеем Судовским, а другой его приближенный человек и чуть ли тоже не родственник, Сидрин (простой шпион), бывал у Дегаевых чуть ли не каждый день. Вообще отношения вполне интимные, и Судейкин, при всей своей осторожности и подозрительности, здесь, очевидно, ничего не опасался. В ноябре месяце г-жа Дегаева собирается уехать за границу. Судейкин дает ей денег, дает фальшивый заграничный паспорт. Он полагает, что она едет следить за эмигрантами. Дегаев, оставшись один, для полного успокоения Судейкина, просит его дать ему слугу из шпионов. Просьба, разумеется, удовлетворяется, и какой-то сыщик, шурин Сидрина, делается лакеем Дегаева, проживая, впрочем, по фальшивому виду, на имя сына дьячка, Константина Александрова. Таким образом, Судейкину не может придти в голову даже сомнение об опасности посещать квартиру Дегаева.

«А между тем смерть уже приближалась к нему. Дегаев пробовал стрелять в комнате—и оказалось, что звук не слышен вне квартиры. Его пособники, Стародворский и Конашевич, входили в квартиру и осмотрели ее. Они обсудили, какое орудие будет наиболее подходящим для убийства, и остановились на железных полупудовых ломах, около аршина длиной. Наконец был назначен день.

«Дегаев должен был устроить так, чтобы в этот день к нему пришел Судейкин, и чтобы Константина в то же время

не было дома. Такой случай очень скоро явился сам на помощь заговорщикам. Константин отпросился отлучиться из дома на парад, и Дегаев написал Судейкину, что желает его видеть. Это было 16 декабря 1883 года. Стародворский поместился в спальне, Конашевич в кухне. До звонка у входной двери все сидели в спальне, когда же раздался звонок, Конашевич отправился на назначенное ему место в кухне, а Дегаев пошел отворить дверь. Еще ранее решено было, что, когда Судейкин войдет в комнату, что перед спальней, то Дегаев выстрелит в него сзади, вследствие чего Судейкин, по предположению, должен был броситься вперед, т. е. в спальню, где его встретил бы Стародворский. Вскоре после звонка Стародворский услышал шаги, а затем выстрел в соседней комнате. Прождав момент и видя, что Судейкин не показывается в спальне, он бросился в комнату, откуда был слышен выстрел, и увидел Судейкина на пороге лицом в гостиную. Стародворский ударил его ломом, но так как Судейкин занимал неудобное для удара положение, то лом только скользнул по нем, не причинив существенного вреда. После удара Судейкин, держась левой рукой за бок, с криком побежал в переднюю, где в это время возле входной двери находились Судовский и Конашевич. Здесь он снова ударил Судейкина в висок и увидел, что Конашевич в то же время наносил удары Судовскому. От последняго удара Судейкин упал, как показалось Стародворскому, без признаков жизни, но через несколько мгновений вскочил и вбежал в ватерклозет, удерживая руками изнутри дверь. Желая воспрепятствовать Судейкину затворить за собою дверь ватерклозета, Стародворский вставил ногу между дверью и косяком, причем одной рукой старался оттянуть дверь, а другою бил Судейкина ломом по рукам. Когда дверь таким образом была им вырвана из рук Судейкина, то последний вместе с дверью оказался в передней, где Стародворский нанес ему еще несколько ударов ломом по голове, в затылок. От этих ударов Судейкин опрокинулся назад в ватерклозет; здесь Стародворский еще раз ударил Судейкина ломом, причем разбил находившийся там ночной горшок, и прекратил нанесение ударов, лишь убедившись, что Судейкин мертв. Судовский также лежал на полу в передней на меховом пальто. Конашевич ушел во внутренною комнату за своей одеждою и затем со-

вершенно удалился, а Стародворский остался еще в квартире, чтобы взять, по поручению Дегаева, некоторые вещи и кинжал, во избежание, чтобы по этому кинжалу не отыскали его прежнего владельца. На это потребовалось минут пять времени, втечение которого он ходил со свечой по разным комнатам. Уходя из квартиры, он запер за собою дверь на ключ, который бросил на Невском проспекте...»

Революционная Немезида получила удовлетворение, те бесконечно громадные числа жертв Судейкина, которые вопияли о мщении, были отомщены; но слишком тяжела, более того, варварски жестока самая картина убийства человека—все же Судейкин был живым существом, человеком, хотя и потерявшим нравственный образ—а убийцы били к тому же социалистами, проповедниками добра и лучшего будущего.

По Гончарной улице дойдем до Полтавской, свернем налево, на Невский проспект, по которому достигнем Харьковской улицы, а по последней и Тележной, где наше внимание должен обратить дом № 5 (выкопировка VII, № 32).

В ночь на 3-е марта в этой квартире был сделан внезапный, выражаясь словами обвинительного акта, обыск. На указание, что пришли с обыском, раздалось несколько выстрелов, а затем какая-то женщина отперла дверь, через которую производившие обыск и проникли в квартиру. В первой комнате, направо, они нашли лежащим на полу только что застрелившегося в висок человека. Не выходя из бессознательного состояния, неизвестный тут же вскоре умер. По осмотру домовой книги и по показаниям свидетелей оказалось, что он проживал, вместе с арестованною женщиною, под именем супругов Фесенко-Навроцких, по подложному паспорту на имя коллежского регистратора Ивана Петровича Фесенко-Навроцкого.

Дознание выяснило, что под этим именем скрывался старый революционер Николай Алексеевич Саблин, который привлекался к дознанию уже в 1873 и 1874 годах. Женщина, жившая с ним, была Геся Гельфман.

На этой квартире Рысаков и другие участники последнего нападения на Александра II получили свои метательные снаряды; два таких вполне готовых снаряда было обнаружено и при обыске, а затем найден был тот карандаш-

ный план, который в последнюю минуту набросала на обороте конверта Перовская, раз'ясняя участникам взрыва план действия 1 марта.

3 марта, утром, вскоре после вышеупомянутого обыска в дом № 5 по Тележной улице, где были оставлены чины полиции с приказанием задерживать каждого, кто придет в обысканную квартиру—явился молодой человек и, поднимаясь по лестнице во второй этаж, где находилась означенная квартира, был встречен дворником; на вопрос последнего—куда он идет?—неизвестный, спросив кучера, указал на квартиру № 12, каковой вовсе в доме не имеется, вследствие чего был приглашен в квартиру № 5, где и был задержан.

Когда же было приступлено к производству у него обыска, то он, выхватив из кармана револьвер, сделал шесть выстрелов в задержавших его полицейских чинов, из которых двоим нанес тяжелые ранения. Задержанный оказался крестьянином Смоленской губернии, Сычевского уезда, Ивановской волости, деревни Гаврилкова, Тимофеем Михайловым,—третьим Михайловым...

Тимофей Михайлов... „Тимоха“, как его звали рабочие, работал на многих заводах и, как водится, жил среди них. Департамент полиции пустил в ход все свои темные силы. Десятки рабочих были привлечены к допросу только за то, что работали на одном заводе с Тимофеем, а некоторых даже арестовали и продержали в доме предварительного заключения месяцев 8. Все это делалось с целью запугать, нагнать страху на знавших Михайлова... но все эти застращивания ни к чему не привели: Т. Михайлов был слишком хорошо известен среди рабочих, особенно среди котельщиков,—не столько, конечно, своими знаниями, сколько своею честностью, преданностью рабочему делу и чувством товарищества. Много раз он являлся защитником обиженных рабочих, заступался за них, борясь с грубой и несправедливою заводской администрацией. Последняя также прекрасно знала смелого и решительного Михайлова...

Тут же, недалеко от Тележной улицы, на Невском проспекте в доме № 124 (планшет VII, № 31) была одна из квартир Кибальчича. Осенью 1880 года в этом доме содержала меблированные комнаты крестьянка Марфа Кононова,

и у нее, под фамилиею Агатескулова, проживал Кибальчич; отсюда 23 января 1881 года он переехал в свою последнюю квартиру. Эта квартира помещалась на Лиговке, дом № 83, между Кузнечным и Свечным переулком, по правой стороне Лиговской улицы (если итти от Невского проспекта к Обводному каналу). По удостоверению квартирной хозяйки, а также и дворника из своей последней квартиры, Кибальчич обыкновенно уходил из дому часов в 10 утра и возвращался поздно вечером.

Дальнейший наш путь будет вестись следующим образом: через Пески, по Литейной части на Выборгскую, с которой на Петроградскую, где главное внимание будет обращено, конечно, на Петропавловскую крепость; с Петербургской стороны перейдем на Васильевский остров, затем на Адмиралтейский остров при адмиралт. части, откуда в роты Измайловского полка, а из них—в былой Семеновский полк. В заключение будут собраны описания всех мест, где царское правительство исполняло свои приговоры над революционерами.

На Песках прежде всего следует отметить пустырь за Смольным монастырем, куда 28 февраля 1881 года Рысаков, „техник", т. е. Кибальчич, Тимофей Михайлов и Михаил Иванович, т.-е. Гриневицкий, ходили пробовать образец снаряда—снаряд этот был брошен Тимофеем Михайловым и удачно разорвался.

Об этих снарядах—изобретения Кибальчича—так говорил казенный эксперт, генерал-майор Федоров: «особое приспособление, посредством которого должен взрываться такой снаряд, состоит в том, что внутри его были помещены две латунные трубки—одна вертикальная, другая горизонтальная. В каждую трубку была вставлена пробка, и внутри проходила стеклянная трубочка. Внутри этих барабанов на стеклянную трубочку набиты свинцовые грузики, а чтобы они не скользили по трубке, на стеклянную трубочку надета маленькая каучуковая трубочка. Стеклянная трубочка была наполнена серною кислотою и при бросании снаряда она непременно бы разбилась. Поверхность стеклянной трубочки была обмотана фитилем, напудренным смесью бертолетовой соли, антимония и сахара. Эта смесь загорается, если на нее пролить крепкой серной кислоты. От этих трубочек

и барабанов шли два фитиля, которые потом соединялись в один фитиль. Это были хлопчато-бумажные нитки, напудренные тоже смесью из бертолетовой соли, антимония и сахара. Помещались они внутри каучуковой трубочки. Наконец, общий фитиль шел к капсулю, который входил в цилиндрик, и здесь была маленькая трубочка. Цилиндрик был наполнен пироксилином, а капсюль устроен таким образом: самая нижняя его часть была наполнена гремучею ртутью, а в верхнюю его часть была вставлена латунная трубочка без дна, и вместо дна была вставлена пробка из крепкого, твердого дерева. Сверху дна был состав, который, главнейшим образом, заключал в себе железисто-синеродистый свинец и бертолетовую соль.

Снаряд действовал таким образом: при падении снаряда ломалась стеклянная трубочка. Если снаряд упадет вертикально, то ломалась вертикальная трубочка, если же горизонтально, то горизонтальная трубочка. Серная кислота пролилась бы на смесь бертолетовой соли с антимонием, и появился бы огонь. Этот огонь передавался бы капсюлю, и сначала загорелся бы состав из бертолетовой соли с железисто-синеродистым свинцом. От этого взрыва пробка ударилась бы в гремучую ртуть, делался бы взрыв гремучей ртути, и взрывался бы цилиндрик, наполненный пироксилином, пропитанным нитроглицерином, а затем бы произошел взрыв гремучего студня с камфорою».

На суде прокурор задал ученой экспертизе такой вопрос: «с точки зрения науки техники, какое вы можете дать заключение об этих снарядах? Известен ли вам в науке такой тип метательных взрывчатых снарядов, или это совершенно новый тип, которого до сих пор вы еще не видели и о котором не читали до сих пор в научных сочинениях?»—Ученому эксперту очень не хотелось признать Кибальчича изобретателем, и он постарался дать ответ по обычному для официозности способу: «с одной стороны, нельзя не сознаться, но вместе с тем и нельзя не признаться»... Так, эксперт заявил, что «эти трубочки с серною кислотою и соединение их с смесью бертолетовой соли, антимония и сахара употребляются на практике, и известно, что от разрыва трубочки с серною кислотою эта смесь воспламеняется». Из этой части показания можно, казалось, сделать вывод, что

«открытия», «изобретения» не было, но эксперт сейчас же дополнил: «но, собственно, о таком аппарате, где сделано такое приспособление, что от гремучей ртути взрывается пироксилин, пропитанный нитро-глицерином, а затем гремучий студень с камфорой—я не слыхал». Таким образом, в конце концов эксперт, признал изобретение Кибальчича.

Затем, на Песках должны нас заинтересовать два дома, в которых были две квартиры Рысакова: первую из них—на углу 9-ой Рождественской и Мытнинской улицы, д. № 32/44, кв. № 17 (VIII планшет, № 63)—он занимал под именем вятского мещанина Макара Егоровича Глазова, во второй квартире—на углу 5-ой Рождественской улицы и Греческого проспекта, д. № 6/14, кв. 18 (планшет VIII, № 64)—он проживал под собственным именем. Квартиры эти были маленькие, комнатки неудобные, но к квартирным неудобствам Рысакову не приходилось привыкать: отдельную комнату он смог занять лишь после того, как вступил в партию „Народной воли“, и его квартирою партия должна была пользоваться для партийных целей; до этих пор Рысаков довольствовался и углом.

В самом деле, инспектор Горного Института, в котором воспитывался Рысаков, узнав о крайней бедности Рысакова, послал освидетельствовать, и оказалось, что «Рысаков проживал где-то на углу 15-ой линии Васильевского острова и Большого проспекта, занимал угол—пространство между печкою и стеною, и единственное его питание—пьет только чай с черным хлебом!»

Показание одной из квартирных хозяек Рысакова было очень характерно. Власть обвинительная усиленно допытывалась, в каком настроении был утром 1-ого марта Рысаков. И хозяйка, видимо, малоинтеллигентная, неразвитая, а может быть даже и неграмотная, отвечает: «он был трогательный (курсив наш)... начал разговаривать со мною, а раньше почти никогда не говорил...»

«Он был трогательный!» Да, собираясь на роковой подвиг, покончив все счеты и расчеты с жизнею—человек мог сделаться трогательным, мог выказать и душевную мягкость, и желание человеческой ласки... Умирать, ведь, все-таки, даже во имя идеи, очень тяжело.

Тут же, недалеко от второй квартиры Рысакова, на углу Дегтярной и 5-ой Рождественской, в доме № 33/14, под именем и по паспорту черниговского мещанина Сергея Лапина проживал Тимофей Михайлов (планшет VIII, № 78), и, наконец, как мы уже отметили, в Орловском переулке (VIII планшет, № 75) была последняя квартира Александра Михайлова.

С этой последней квартиры легко дойти до нынешней улицы Жуковского, прежде Малой Итальянской. Почти на углу Преображенской улицы помещается дом № 33 (планшет VI, № 27), здесь с 11 апреля по 3 мая 1880 года жила дочь титулярного советника (учителя народного училища) Людмила Дементьевна Терентьева, уроженка Херсонской губернии, воспитывавшаяся «на казенный счет», как было подчеркнуто в обвинительном акте по делу 20-ти,—подчеркнуто, чтобы показать всю неблагодарность Терентьевой: правительство платило за ее ученье, а она пошла «в революционерки». И действительно, по окончании в 1878 году курса ученья, 16 лет от роду, Терентьева вступила в партию, которой и отдала все свои силы—работая, главным образом, в тайных типографиях.

От дома на Малой Итальянской улице свернем на Преображенскую, на правой стороне которой,—второй дом от угла, под № 3 (планшет V, № 33); здесь проживал один из участников известного процесса доктора Веймара—Александр Сабуров, заявивший, что Сабуров его псевдоним, а настоящую свою фамилию он не хочет открыть. И следствие, несмотря на то, что оно тянулась несколько лет, так и не могло открыть настоящей фамилии, и человек под псевдонимом был приговорен к смертной казни, которая, впрочем, была заменена бессрочной каторгой.

Странное совпадение обстоятельств:—на той же Преображенской улице приходится отметить угловой на Бассейную улицу дом, № 20 (планшет V, № 34), в котором жил, опять-таки под псевдонимом, под которым и был осужден на каторжные работы, один из участников Казанской демонстрации—Боголюбов-Емельянов; но о нем речь будет ниже, когда мы будем вспоминать знаменитое дело Веры Засулич.

По Преображенской улице мы дойдем до Саперного переулка, в котором подойдем к дому под № 10 (планшет V, № 35). Увы! дом этот перестроен, квартира № 9 уже вовсе не та, какой она была в 1880 году, когда она была расположена таким образом, что, став у самой стены двора, против этой квартиры, нельзя видеть ее окон, а чтобы увидать их, надо было подняться на лестницу, ведущую на сеновал. Как видим, квартира не допускала над собою внешнего наблюдения. А это обстоятельство было очень важно, и его тотчас учел «дворник» Народной Воли—Алексадр Дмитриевич Михаилов, когда он нанимал эту квартиру для своего хорошего знакомого—как он говорил старшему дворнику—отставного канцелярского служителя Луки Афанасьевича Лысенко. Выпись из метрики Лысенко—читатель помнит—была найдена в паспортном бюро „Народной Воли“.

Переехал Лысенко с женою в нанятую для него квартиру 22 августа 1879 года. Для перевозки вещей были взяты две открытые платформы, причем часть мебели была взята с Гончарной улицы, а другая часть из разных мест.

Старший дворник дома засвидетельствовал, что посторонних лиц, приходивших в квартиру Лысенко, ни он сам, ни его подручные не видали, и что жильцы жили тихо, благородно, как и подобает хорошим господам.

А в ночь с 17 на 18 января 1880 года в этот дом в Саперном переулке прибыл исполняющий должность пристава 3 участка Литейной части, Миллер, со своим помощником, городовыми и понятыми. В квартире было два входа. Поэтому отряд разделился. Помощник пристава, околоточный надзиратель, городовой, понятой и старший дворник были направлены на черный ход, а сам пристав с остальною свитою пошел, соблюдая возможную тишину, по парадному входу.

Подниматься пришлось не долго—вот квартира № 9. Привычною рукою, резко, отрывисто звонит пристав. Но дверь не отворяется; а между тем полицейское ухо разобрало и через закрытую дверь шум, суматоху, крики: «пришли с обыском!»

Снова и снова звонит звонок, звонит не переставая. Один из спутников пристава, желая показать свое особое усердие,

дергает за ручку замка и барабанит кулаками в дверь, но дверь не отворяется.

Тогда пристав принимает героические меры—отдает приказ: «выломать дверь». Дверь выломана, вход свободен. Пристав знает план квартиры: надо пройти всего две комнаты, будет кухня, а там на черной лестнице стоит подкрепление.

Но впереди темно. Квартира не освещена. И только пристав сделал первые шаги, послышался скрип отворяемой двери одной из соседних комнат, сверкнул огонек—и первый револьверный выстрел прогремел.

Но пристав, согнувшись, с'ежившись, все же перебежал чрез темное пространство и, облегченно вздохнув, открыв кухонную дверь, очутился на площадке черного входа.

А позади гремели один за другим выстрелы. Вскоре к стреляющим революционерам присоединились и полицейские. Началась форменная перестрелка.

Обилие выстрелов заставило пристава предположить, что в квартире имеется значительное количество террористов, и пристав не решился без специальной воинской вооруженной силы занять квартиру и поехал в казармы жандармского дивизиона—благо, он был неподалеку, на Кирочной улице.

Отсутствие пристава продолжалось не более 25 минут. За это время Лысенко и его товарищи не решились прорваться сквозь сторoживших их городовых и занялись истреблением поличного: жгли бумаги (обгорелые остатки найдены были при обыске), рассыпали шрифт, били стекла в квартире, приводили ее в такой вид, чтобы разгром был сразу заметен.

Но вот и жандармы. Они—более привычны, чем городовые. С зажженными лампами проникают в квартиру. Перестрелка возобновляется, и после некоторой борьбы связаны двое мужчин и две женщины.

Пятый жилец—бедная, тихая, скромная „Птичка“, таково было его партийное прозвище—был найден мертвым, лежащим на полу. Охолодевшая рука еще сжимала маленький револьвер, которым был сделан последний смертельный выстрел.

Но если «живого материала» было взято сравнительно немного, то в общем добыча была велика: ликвидирована была

«Петербургская вольная типография»,—та типография, которая с 1 ноября 1879 года стала выпускать журнал «Народная Воля».

Был захвачен не только печатный станок со всеми к нему приспособлениями для печатания, но и рукописи, значительное количество изданий Петербургской вольной типографии, 1/4 фунта динамита, 7 медных терок, для производства взрывов 7 дистанционных трубок, из которых две с приделанными к ним фитилями, ударный состав, состав для капсюлей Карло и т. п. Далее, отобрано значительное количество подложных документов о явке к исполнению воинской повинности, 13 бумажных коробок со 117 печатями разных правительственных учреждений и должностных лиц, резанными на грифеле и медных монетах.

Выяснилось, что во время обыска происходило печатание 3-го номера „Народной Воли". Набор стоял еще в станке, а часть готовых номеров, еще не сфальцованных, со свежей резко пахнувшей краской, лежала в помещении.

И в этом номере была напечатана программа партии «Народной Воли»:

«Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее, как партия, сочтем долгом явиться пред народом со своей программой.

Эта программа следующая:

1) Постоянное народное представительство, составленное свободно, всеобщей подачей голосов, имеющее полную власть во всех общегосударственных вопросах.

2) Широкое областное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей, самостоятельностью меры и экономическою независимостью народа.

3) Самостоятельность мер, как экономической так и административной единицы.

4) Принадлежность земли народу.

5) Система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики.

6) Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и избирательной агитации.

7) Всеобщее избирательное право без сословных и имущественных ограничений.

8) Замена постоянной армии территориальной.

А среди забранного „живого материала“ была и дочь майора Софья Ивановна, 24 лет, которая принимала участие в революционной пропаганде 1874 года, будучи наборщицей в типографии Мышкина.

Софья Ивановна вместе с другими участниками набирала печатавшиеся в типографии революционные сочинения: «История одного французского крестьянина». «Что-ж, братцы» и т. п., содействовала их сбыту, знала о преступной деятельности других участников и вообще действовала, как сочлен общества,—так говорилось в обвинительном акте—сознательно стремилась к развитию агитации.

В 1876 году Софья Ивановна принимала участие в демонстрации у Казанского собора.

За все эти преступления она была во первых, лишена всех прав и преимуществ, а во вторых, сослана на поселение в город Кемь Архангельской губернии; по первоначальному приговору, вместо ссылки в Кемь, значилось ссылка в Сибирь.

Из города Кемь Софья Ивановна скрылась 22 марта 1879 года и нашлась только через год, 17 января 1880 года, при аресте народовольческой типографии. Она исполняла роль хозяйки квартиры.

Хозяин квартиры, Лука Лысенко, оказался сыном тайного советника Николаем Бухом. Полиция его разыскивала уже около пяти лет, с 1874 года, обвиняя в участии в самарском кружке пропагандистов. Остальные захваченные были Цукерман и Грязнова.

30 октября 1880 года судом был вынесен приговор по делу 16-ти, к этому делу присовокупили всех вышеприведенных обвиняемых: Бух был приговорен к каторжным работам на 20 лет, Цукерман на 8 лет, Иванова на 4 года, а Грязнова к ссылке на поселение в Сибирь.

Такова была трагическая судьба печатников первой—в смысле технического оборудования и устройства—петербургской вольной типографии.

Дом, где она помещалась, как мы уже указали, перестроен, квартиры не существует, но значение этой типографии для народовольческого дела настолько велико, а притом и факт первого более или менее большого вооруженного сопротивления полиции сам по себе имеет большое

значение, и нам казалось бы, что нужно отметить это место прибитием к стене теперь существующего дома (планшет V, № 35) соответствующей надписи. Значение таких досок в агитационном смысле велико, она ведет мысль, в определенном направлении, ставит вопросы, на которые нужно немедленно дать ответ.

Продвигаясь дальше к двум тяжелой памяти учреждениям—дому предварительного заключения и бывшему окружному суду—мы должны пересечь Фурштадтскую улицу, на который в 1868 году была интересная большая студенческая сходка.—Дом, в котором она происходила, к сожалению, забыт, сохранилось лишь воспоминание об улице Фурштадтской.

Здесь жил студент Любимов, и на сходке у него Нечаев продолжал собирать подписи под списком лиц, желавших устроить общестуденческую кассу; эта бумага содержала также в себе, по словам Ковалевского, протест, заключавшийся в том, чтобы собраться на сходки и об'явить начальству высших учебных заведений, чего желает студенчество, а в об'яснении указать, что, несмотря на его, начальническое, благое желание, помочь студентам, оно неспособно, потому что слишком удалено от студенческой жизни. Если бы начальство не удовлетворило требований, в протесте предполагалось прекратить посещение лекций. По словам студента-медика Лихутина, под этим протестом он видел в конце января до 80 подписей, собранных на разных сходках. На сходке происходило решительное сражение между Нечаевым, стремившимся придать движению характер общеполитический, и Езерским, стоявшим за «академизм», выражаясь по современному; большинство студентов склонилось на сторону второго.

«Вероятно, на Нечаева сильно подействовала неудача, которую он потерпел. Несмотря на всю свою энергию, ему не удалось овладеть студенческим движением, направить его по предначертанному им руслу великого революционного освобождения России. Да и какое значение для широкой массы имел он, скромный учитель в приходском училище? Нечаеву необходимо было создать себе имя, ореол революционера и мученика за свободу, достать благословение «династии Колокол» (т. е. Герцена, Огарева и Бакунина),

достать, наконец, средств для приведения в исполнение его грандиозных замыслов. И вот начинается великая мистификация!»

Описание ее выходит из пределов нашей темы. На той же Фурштадтской ул., на углу нынешнего Друскеникского переулка, жил П. Л. Лавров (планшет V, № 72). Вслед за Фурштадтской улицею, мы попадаем на Шпалерную, где высится здание «предварилки», как звали и зовут в общежитии тюрьму предварительного заключения.

«Гордость наших властей—писал Кропоткин—составляет новый дом предварительного заключения в Петербурге, достопримечательность, показываемая иностранцам. Это—образцовая тюрьма, единственная таковая в России: построена она по плану бельгийских тюрем. Я знаком с нею по личному опыту, так как был заключен впродолжение трех месяцев. Это—единственная в России чистая тюрьма для уголовных преступников. Чиста она безусловно. Половая щетка работает там без устали, а метлы и ведра проявляют почти сверхестественную деятельность. Это выставка, и заключенные обязаны содержать ее блестяще. Все утро они моют, трут, полируют асфальтовый пол, и дорого им обходится его блеск. Воздух насыщен частицами асфальта. Я сделал бумажный абажур на свой газовый рожок, и через несколько часов можно было рисовать пальцами фигуры по пыли, покрывшей его. И этим воздухом приходится дышать.

В три верхние этажа проникают все запахи нижнего, и вентиляция настолько плоха, что вечером, когда двери заперты, дышать положительно нечем. Одна за другой назначались две или три особые комиссии для изыскания способов усовершенствования вентиляции; и последняя, под председательством статс-секретаря Грота, донесла, что здание (стоившее вдвое больше, чем подобные ему бельгийские и немецкие тюрьмы) должно быть совершенно перестроено, так как никакой ремонт, даже фундаментальный, не в состоянии сделать вентиляцию сносной.

Камеры имеют 10 футов длины и 7 футов ширины, и в одно время тюремные правила обязывали нас держать открытыми отверстия в дверях из опасения, чтобы мы не задохнулись на том самом месте, где сидели. Потом правило это было отменено, отверстия закрыты, и нам было

предоставлено справляться, как угодно, с действием температуры, которая иногда была удушливо высокой, иногда ледяной».

К этому описанию позволяем себе привести некоторые выписки из воспоминаний Д. Герценштейна, бывшего врачом в этой тюрьме во время Боголюбовской истории.

«Главная часть здания, мужское отделение, непрерывной постройкой окаймляет большой квадратный двор, на который выходят окна всех 6 этажей камер. Ни на улицу, ни на соседние дворы, камеры окон не имеют. Внутри здания корридор четырех нижних этажей отделен от верхних двух сплошным каменным потолком, тогда как вокруг камер других этажей тянутся железные узкие, не доходящие до противоположной стены, галлереи, сообщающиеся одна с другой довольно крупными железными лестницами с высокими ступенями.

Это был мрачный, сырой, огромный склеп, где хоронили живых, и где смотритель кладбища,—полковник Федоров— был мягкий, гуманный человек, а могильные сторожа-надзиратели — обыкновенные российские добродушные люди, некультурные, но и не злые. И тем не менее не только томиться там в неволе, но даже служить—мне, по крайней мере,—становилось очень тяжело. От сырости я нажил невралгию лица и сплошь и рядом, чтобы унять боль и быть в состоянии работать, должен был делать подкожные вспрыскивания морфия...»

Пока, в воспоминаниях доктора нет ничего сверхестественного; но вот еще одна выписка, которая разом осветит всю картину «образцовой» русской тюрьмы.

«Но вот еще такая же узенькая тюремная дверь. Мы отперли и ее; несмотря на яркий солнечный день, здесь так темно, как в самую глухую ночь в комнате с плотно запертыми ставнями. Жарко, как в бане, но как-то странно: сухо или сыро—не понять, но воздух какой-то промозглый, дерет в горле, и вонь просто невероятная. Что-то фантастическое копошится в этой темноте: я это слышу, чувствую, но ничего не могу различить, ровно ничего не вижу.

— «Это, г. доктор...» говорит один из фельдшеров кому-то в темноте.

— Смотрите, смотрите,—раздается в ответ чей-то голос, мрачный, торопливый, фантастический.

Все это дико, фантастично, похоже на сон или сказку.

— Кто здесь?—спрашиваю я: кто вы?

— Я Дическул—и опять глухой голос с каким-то ужасом и изумлением повторяет: смотрите, смотрите, вот, вот, черви, живые!

Но я не могу смотреть, потому что ничего не видно. Один из фельдшеров сбегал куда-то и достал огарок свечи. Мы ее зажгли. Красноватый свет озарил ближайшее пространство, оставляя во мраке остальную часть помещения. Длинноватая, растрепанная, растерзанная, фигура поднялась с голого асфальтового пола. Это какое-то фантастическое видение. Опять послышалось:

— Смотрите, смотрите; черви, живые, копошатся! Смотрите!

Фельдшер с огарком стал освещать черный асфальтовый пол, усеянный человеческими экскрементами различной давности. Весь пол был усеян этими выделениями. Одни, совершенно высохшие, едва чернели, другие, более недавнего происхождения, кишели большими белыми ползавшими и извивавшимися червями. Стены в разных местах также были выпачканы. Судна, так называемой параши, не было; ни ведра, ни нар, как вообще ровно ничего, кроме извержений. Они составляли единственную принадлежность, движимость или убранство,—не знаю, как сказать,—этого помещения. И среди них и на них должен был лежать культурный человек, все преступление которого заключалось в том, что он желал лучшей участи своему народу. В другой стране он, пожалуй, был бы депутатом, восседал на парламентских креслах, выслушивал бы и критиковал тронную речь, может быть, был бы министром. А здесь, у нас? Он должен был сидеть или лежать, избитый, в указанной обстановке и атмосфере, чувствовать, как копошились под ним и на нем, на его голых руках и шее, смрадные черви. Он был близок к помешательству и все повторял, указывая на множество мест:

„Смотрите, смотрите!“

Заключенный пробовал бороться с этим. Со сверхестественной силой, сам избитый, он вышиб глухую фортку в

двери и через нее голыми руками стал выбрасывать эту мерзость. Но труд несчастного был совершенно напрасен, и у него в помещении ничего не изменилось.

Это и был темный карцер, заботливо построенный одновременно со всей этой образцовой тюрьмой. Его поместили рядом с машинной топкой и, не проделав ни окна, никакой щели, не снабдили ни малейшей вентильцией, а начальство не поставило даже параши. При Федорове им, вероятно, как карцером, не пользовались и не запирали. Поэтому рабочие во дворе, дворники и пр., чтобы не ходить далеко, применили его к своим надобностям. Теперь о нем вспомнили. И сюда в эту вечную смрадную ночь сажали людей на несколько суток...»

Медаль всегда имеет две стороны. Мы привели достаточно фактов, чтобы показать, что представляла из себя «образцовая» тюрьма. Приведем теперь и описание одного из тех средств, которыми попавшие сюда люди старались поддержать в себе бодрость, силу духа. Описание мы берем из записок Брешко-Брешковской.

«В один из пасмурных осенних вечеров перевезли и меня в предварилку, ввели в тесный ящик и захлопнули дверь. Я стояла посреди камеры, не успев еще собраться с мыслями, как форточка в двери открылась, и молодая надзирательница громко сказала: «Идите в клуб, вас ждут».—Я переспросила.—В клуб идите, уже все собрались, чего же вы...—Я ничего не понимала, но чувствовала, что есть чему-то радоваться, куда-то спешить.—«В клуб»... Я хочу в клуб... но где же он?.. Так идите-ж скорее... зовут ведь... ждут...—Куда-же я пойду... скажите... поведите...—Да вон, вон... в клуб... Надзирательница тыкала рукою в угол, где стояла раковина ватерклозета. Я стояла, раскрыв глаза и рот и ничего не понимала.—Да есть у вас палка?,—вдруг спросила надзирательница.—Нет палки, отвечала я виноватым голосом. Форточка захлопнулась, а через минуту надзирательница просовывала мне палку в аршин длиною, с тряпкою на конце... — Вот вам и палка, идите в клуб. — Я чувствовала себя несчастной: жажда идти в клуб и невозможность попасть туда терзали мое сердце. Беспомощная, я стояла и молчала. — Господи, все-то ничего не понимает!... Дверь шумно отворилась, влетела надзирательница, выхватила у

меня палку, открыла крышку клозета и с повелительным жестом сказала: — Смотрите, тряпкою вниз и выкачивайте воду влево, в трубу... еще напустите воды, всполосните и опять выкачивайте... Ну, теперь становитесь, говорите... Она поставила палку в угол, захлопнула дверь и была такова. Все еще плохо соображая, в чем дело, я нагнулась над раковиной и закричала: «Господа, меня привезли»...—Катю привезли! Катю привезли!—раздались возгласы разных голосов, ясно и громко долетавших до моего уха. «Вы где?»

— Мы в камерах, мы тоже в раковины говорим... это клуб называется... десять человек могут говорить вместе... ты не не кричи очень, и так хорошо слышно.

Моей радости и моему удивлению конца не было: виданное ли дело—из одиночек голосами разговаривать, да еще десяти человекам зараз... да еще после 3-х лет молчания!

Оказалось, что мужчины первые открыли способ говорить через трубы клозетов и передали свое открытие на женское отделение. Тюрьма вдруг заговорила, и не было возможности заставить её замолчать...»

Дом предварительного заключения (планшет V, № 38) находится рядом и имеет внутреннее сообщение со зданием окружного суда. Это здание—одно из исторических зданий Петербурга (планшет V, № 39). На месте его с первых лет существования Петербурга был «Старый пушечный двор», в царствование императрицы Екатерины II этот пушечный двор был перестроен интересным русским архитектором Бажановым в здание артиллерийского музея, в эпоху великих реформ музей был переведен в Кронверк, а здание передано министерству юстиции, чтобы здесь открылся гласный, справедливый, равный для всех суд.

В октябре 1877 года начался суд над 193 пропагандистами. «Этот гигантский процесс, конечно, привлек внимание всего общества. Внимание перешло скоро в изумление, а изумление в негодование: по мере того, как развертывалась картина процесса, все более и более выяснялось, что молодых людей и девушек держали 3—4 года в одиночном заключении за преступления, за которые специально назначенный суд мог осудить только тридцать с небольшим человек, из них 20 на поселение, остальных должен был оправдать или вменить им в наказание предварительное заключение. Мало

того, с этими оправданными оправдавший же их суд втечение всего процесса обращался, как с закоренелыми преступниками, и вел себя до гнусности пристрастно, допустив возмутительное противоречие: он разделил всех подсудимых на 17 групп и решил производить следствие каждой группе отдельно, и в то же время все подсудимые обвинялись в одном общем для них преступлении—«составлении незаконного сообщества». Ни протесты подсудимых, ни требование адвокатуры, доказывавшей беззаконность такого распоряжения, не привели ни к чему. Тогда подсудимые решились отказаться от всякого участия в суде. И вот началась невиданная картина. Изо дня в день суд вызывает группу за группой, лицо за лицом. На вопрос о виновности слышится постоянно один и тот же ответ: «Не признаю суда, не желаю в нем участвовать и прошу меня вывести». Редко—редко кто из подсудимых соглашается присутствовать при судебном следствии,—и суд происходит в отсутствие подсудимых, Сенаторы и даже сам прокурор чувствуют себя неловко и сконфуженно. Подсудимые же, по глубине своего убеждения и гордому поведению, составляют резкий контраст со всеми представителями правительства, начиная от первоприсутствующего до шпионов, фигурирующих в качестве свидетелей, включительно. Когда же была вызвана группа, к которой причислили Мышкина, и он произнес свою знаменитую речь, то особое присутствие сената было совершенно уничтожено. Роли переменились: обвинитель на скамье подсудимых, а сенаторы, увешенные орденами, с председателем во главе, мечутся из стороны в сторону, не зная, что делать, при звуках обвиняющего их голоса. Когда же Мышкин произносит свои последние слова, клеймя это правосудие, «более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства из-за чинов, из-за крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества»,—все сенаторы гурьбой бросаются в дверь, забыв закрыть заседание. На подсудимых же накидываются жандармы, бьют и выталкивают из зала заседания».

Разбор самого дела показал, что следствие велось совершенно противозаконно. Привлекались люди, заведомо

невинные, их держали месяцами и годами в тюрьме, чтобы добиться показаний—желательных для обвинительной власти, хотя бы и ложных. Выяснилось, что некоторые показания писаны самим прокурором, который вынуждал подписывать их. Некоторых же из невинно-арестованных держали несколько лет в заключении и привели на суд «для оттенения других», как имел нахальство об'явить в своей речи сам прокурор Желеховский».

«А летом того же года—13 июля 1877 г.—я, по обыкновению, из городской больницы, где я служил ординатором—писал Д. Герценштейн,—поспешил в дом предварительного заключения. Проходя к себе в докторскую, я слышал какой-то шум, гул и видел не то встревоженные, не то растерянные лица. У себя в кабинете я застал обоих фельдшеров, донельзя взволнованных и растерянных. От них я узнал, что утром здесь был градоначальник Трепов и, встретив на дворе на прогулке заключенного Боголюбова, сбил шапку у него с головы. Когда, вследствие этого, заключенные, видевшие это в окна своих камер, подняли крик, то Трепов, за этот крик других, приказал высечь Боголюбова, что и было исполнено. Теперь заключенные протестуют и выражают свое негодование криком и всякого рода шумом. Ночью в тюрьму ввели военный караул и большой отряд полицейских. Эти последние группами расхаживали по камерам, избивая стучавших и волоча многих из них по карцерам. Кого тащили под руки, а кого волокли за ноги, причем голова колотилась о чугунный пол. Разумеется, избиение было общим правилом, а остальное—карцеры и т. п.—только дополнением».

А 24 января 1878 года, в 11 часу утра, в приемной градоначальника во время подачи прошений одна из посетительниц выстрелила в генерал-ад'ютанта Трепова. Свое покушение об'яснила тем, что она мстила за наказанного летом 1877 года розгами, по распоряжению Трепова, политического арестанта Боголюбова.

31 марта 1878 года состоялось слушание дела Веры Засулич, последнего политического дела, рассмотренного судом присяжных. Председателем суда был А. Ф. Кони, обвинял товарищ прокурора Кессель, защищал присяжный поверенный Александров.

«В марте 1867 года—так начала свое curiculum vitae подсудимая, Вера Ивановна Засулич—я вышла из пансиона, выдержала экзамен на домашнюю учительницу и поступила на место писца к мировому судье в Серпухове. Осенью 1868 года я приехала в Петербург, жила с матерью, ходила работать в переплетную и, кроме того, ходила в школу для учителей, чтобы обучаться звуковому способу преподавания. Там познакомилась с Нечаевым, который свел меня со своими знакомыми, получал на мое имя письма, а уехав заграницу, присылал письма на мой адрес. В апреле 1869 г. у меня сделали обыск, ровно ничего не нашли, мать во время обыска заявила, что мы в Москву собирались на дачу. После этого, почти каждый день из участка приходил городовой справляться, когда мы выезжаем. Выехали мы 30 апреля и в Москве на вокзале были арестованы. Переночевали в части и на другой день отправились с двумя жандармами в Петербург, прямо в III отделение. Мать отпустили, а меня свезли в Литовский замок, где я просидела до мая 1870 г. В первую же неделю ареста заехал ко мне жандармский офицер и спросил, что я имею показать, прибавив, что от моих показаний будет зависеть мое освобождение. Я отвечала, что даже не знаю, за что я арестована, и никак не могу „иметь что-нибудь показать“. С тех пор меня целый год никуда не вызывали и ни о чем не допрашивали, так что я начала даже думать, что меня забыли в тюрьме. В мае месяце меня перевели в крепость и допрашивали в чамодуровской комиссии. Наконец, в марте 1871 года, на пятой неделе поста, меня освободили и на Святой опять арестовали в 1-м часу ночи и посадили в пересыльную. В пересыльной ко мне ходила сестра, носила мне провизию, лакомства, книги, но ни денег, ни одежды не приносила; высылка нам в голову не приходила, думали, что это недоразумение, так как прокурор при освобождении об'явил мне, что я оказалась ни в чем невиновною и вполне свободна. На пятый день меня с двумя жандармами отправили в Крестцы, привезли к исправнику, и он отпустил меня на все четыре стороны с 2 рублями в кармане, в одном платье. Нашлись добрые люди, согласившиеся в доме дать мне комнату и кормить меня. В июне, вследствие моего прошения о кормовых и заявления зятя (тоже ссыльного), что он может меня со-

держать, я была переведена в Тверь, затем была на суде свидетельницею, а после суда снова отправлена с жандармами туда же. В 1872 году летом зятя, по подозрению в давании семинаристам запрещенных книг, перевели в Солигалич Костромской губернии, а меня — после их от'езда — арестовали, возили для допроса о семинаристах в Петербург и затем тоже в Солигалич отправили. В декабре 1873 г. перевели в Харьков, где я и оставалась под надзором полиции и без права выезда из него до сентября 1875 года».

Уже один этот перечень—голый перечень фактов—говорил сам за себя, но он попал в руки Александрова, который, как опытный бриллиантщик умеет гравировкой придать надлежащий блеск камню, сумел облечь свою защитительную речь в такую форму, что она превратилась в обвинение и против Трепова, и против существовавшей системы.

«Годы юности, по справедливости, считаются лучшими годами в жизни человека, воспоминания о них, впечатления этих лет остаются во всю жизнь. Недавний ребенок готовится стать созревшим человеком. Жизнь представляется пока издали ясною, казовою, обольстительною стороной без темных пятен... Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни, в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые мечты волновали ее в стенах Литовского замка и в казематах Петропавловской крепости. Полное отчуждение от всего, что за тюремной стеной. Два года она не видала ни матери, ни родных, ни знакомых. Изредка только через тюремное начальство доходила весть от них, что все, мол, слава Богу, здоровы. Ни работы, ни занятий. Кое-когда только книга, прошедшая через тюремную цензуру. Возможность сделать несколько шагов по комнате и полная невозможность увидеть что-либо через тюремное окно. Отсутствие воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание. Человеческий образ видеть только в тюремном стороже, приносящем обед, да в часовом, заглядывающем время от времени в дверное окно, чтобы узнать, что делает арестант. Звук отворяемых и затворяемых замков, бряцание ружей сменяемых часовых, мерные шаги караула, да унылый музыкальный звон часов Петропавловского шпица. Вместо дружбы, любви, чело-

веческого общения—одно сознание, что справа и слева, за стеной, такие же товарищи по несчастию, такие же жертвы несчастной доли. В эти годы зарождающихся симпатий, Засулич, действительно, создала и закрепила в душе своей навеки одну симпатию — беззаветную любовь ко всякому, кто, подобно ей, принужден влачить несчастную жизнь подозреваемого в политическом преступлении. Политический арестант, кто бы он ни был, стал ей дорогим другом, товарищем юности, товарищем по воспитанию. Тюрьма была для нее alma mater, которая закрепила эту дружбу, это товарищество.

Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все; политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книги, знакомое по слухам, по судебным процессам — представление, возбуждающее в честной душе чувства сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засулич—горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: Что я сделала? Что будет со мной? Когда же наступит конец? Политический арестант был для Засулич—она сама, ее горькое прошедшее, ее собственная история—история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был ее собственное сердце—и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре.

Восставала эта бледная, испуганная фигура Боголюбова, не ведающая, что он сделал, что с ним хотели творить,—восставал в мыслях болезненный его образ. Вот он—приведенный на место экзекуции и пораженный известием о том позоре, который ему готовится; вот он—полный негодования и думающий, что эта сила негодования даст ему силы Самсона, чтобы устоять в борьбе с массою ликторов, исполнителей наказания; вот он—падающий под массою пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростертый на полу, позорно обнаженный несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться.

И над всею этою картиною мерный свист березовых прутьев, да также мерное счисление ударов благородным распорядителем экзекуции... Все замерло в тревожном ожидании стона... этот стон раздался... Это не был стон физической боли—не на нее расчитывали — то был мучительный стон удушенного, униженного, поруганного, раздавленного человека! Священнодействие совершилось, позорная жертва была принесена!

...Мрачные своды мертвого дома леденили воображение, рубцы—позорные рубцы—резали сердце, и замогильный голос заживо погребенного звучал:

Что-ж молчит в вас, братья, злоба,
Что-ж любовь молчит?

И вдруг внезапная мысль, как молния, сверкнувшая в уме Засулич: «О, я сама»! Затихло, замолкло все о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот крик,—я издам его и заставлю его услышать!

Решимость была ответом на эту мысль в ту же минуту. Теперь можно было рассуждать о времени, о способах исполнения, но само дело, выполненное 24 января, было безповоротно решено...»

Вера Засулич была оправдана. Председатель об'явил Засулич свободной. Это было часов в 6 вечера. Публика пришла в невыразимый экстаз—так записывал свои впечатления уже не раз цитируемый нами доктор Д. Герценштейн—радость сияла на всех лицах. Из залы суда радость перелилась к массам, переполнявшим корридоры, лестницы, вестибюли, раздевальни. Ждали и во дворе. Особенно многочисленная толпа запрудила Литейный проспект у здания суда. Везде шло ликование: все понимали, что это жестокий удар правительству и его системе, и были в восторге. Вышедшего Александрова качали и носили на руках. Настроение толпы было такое, какое бывает в измученном осадою и страхом городе, когда вдруг окажется, что неприятель снял осаду и ушел. Увы, в данном случае неприятель ушел недалеко и очень ненадолго!

Вера Ивановна не ушла прямо из суда, а отправилась, как это обыкновенно делается, обратно в тюрьму за вещами, где, по словам начальника Дома Предварительного Заключения, напилась чаю, и затем в 8-м часу была выпущена

через ворота на Шпалерную улицу. Здесь ждала ее толпа тысячи в полторы, которая вместе с нею отправилась на Литейный, но жандармы и полиция не пропустили их сюда. Тогда поворотили обратно по Шпалерной, усадили Засулич в плоховатую извозчичью карету, которая медленно подвигалась вперед, окруженная толпою. Последняя была настроена радостно и вместе тревожно: она не доверяла правительству и опасалась, чтобы полиция и жандармы вновь не арестовали Веру Ивановну и не подвергли ее административным карам. Один молодой человек, Сидорацкий, бывший студент Медицинской Академии, взобрался на козлы кареты и поместился рядом с кучером. На Воскресенском проспекте, около Фурштадтской, толпу встретил конный отряд жандармов, выехавший из находящихся в нескольких шагах отсюда, на Кирочной, жандармских казарм. Во главе отряда, удобно усевшись на хорошей лошади, важно выступал плотный, лет 30, штаб-ротмистр, блестевший белой лядункой и вообще всеми прелестями и соблазнами жандармского мундира. Этот ротмистр, кстати сказать, был известен очень многим петербуржцам своим замечательным сходством с императором Александром II. Он брил подбородок и носил бакенбарды так же, как и Александр II, и гулял ежедневно по Невскому проспекту, привлекая своим видом всеобщее внимание.

Поднялись невыразимые суматоха, крики, вопли. Раздался выстрел, другой... Стали говорить, что убили Сидорацкого, но большинство говорило: Сидорацкий застрелился. Как врач и знакомый—писал Д. Герценштейн—я поспешил к тому месту, где он находился.

На Воскресенском проспекте дом № 11, где находилась аптека, имеет по фасаду выступ, так что у наружной стены образуется угол (планшет V, № 36). Вот в этом углу, плотно прислонясь к стене, сидел на тротуаре Сидорацкий. Он был мертв. Сколько я теперь припоминаю, рана у него была в левом виске. Тут же на тротуаре, около покойника, валялся револьвер.

Опять повторяю: общий голос тех из толпы, с которыми я говорил, согласно утверждал, что он застрелился в экзальтации. Версия, что его застрелили жандармы, явилась после...

В этой суматохе Вера Ивановна Засулич исчезла, а че-

рез несколько дней появилось в печати ее следующее письмо:

«В некоторых газетах заявлено, что я скрываюсь от полиции. Это известие, вероятно, волнует моих родных и знакомых. Мне хотелось бы об'яснить, что заставляет меня так поступать, и с этою целью я прошу вас напечатать мое письмо.

Еще в ту минуту, когда жандармы остановили карету, в которой я ехала, с намерением пересадить меня в другую, мне и, как кажется мне, окружавшей меня публике пришло на мысль, что, несмотря на оправдательный приговор, меня хотели арестовать.

Публика, с сознательным ли намерением помешать аресту или просто по инстинктивному нежеланию допустить его—со всех сторон теснилась к карете, жандармы же расталкивали ее и отрывали от дверей кареты державшиеся за них руки. Затем раздались выстрелы, поднялась невыразимая суматоха, и карета, в которой я была, уехала.

При жандармах извозчику кареты громко кричали адрес той знакомой, к которой я намеревалась ехать. В 2 часа ночи по этому адресу явился полицейский чиновник в сопровождении дворника и трех неизвестных лиц; они осмотрели все углы квартиры и внимательно вглядывались в лица всех бывших там женщин.

Все это заставляет меня верить доходящим до меня слухам о розысках и о том, что имеется приказ преследовать меня административным порядком. Я готова была беспрекословно подчиниться приговору суда, но не решаюсь снова подвергнуться бесконечным и неопределенным административным преследованиям и вынуждена скрываться, пока не уверюсь, что ошиблась, и что мне не угрожает опасность ареста».

Письмо было датировано 3 апреля, а 6 апреля газета «Северный Вестник» была закрыта за напечатание этого письма.

Арестовать Засулич не удалось—вскоре она стала «вне досягаемости» российской полиции: Засулич удалось благополучно перебраться за границу, где она и оставалась до 1917 года, когда вернулась снова в Россию, где и обрела вечный покой...

На Выборгской стороне—не забудем, что речь пойдет о Выборгской стороне 70—80-х годов XIX столетия—оказывается очень трудным, если даже не невозможным, установить точно места Революционного Петербурга: слишком значительное изменение вынесла она за протекшие годы. Выборгская сторона чрезвычайно застроилась, нумерация домов изменилась, и в большинстве случаев приходится лишь указывать улицу и приблизительно—в начале, середине, конце улицы—местоположение того дома, который нас интересует.

Далее, на Выборгской стороне мы можем познакомить с двумя проявлениями революционнаго Петербурга—с движениями в среде учащейся молодежи, а затем в рабочей среде: рабочее движение зародилось именно здесь, на Выборгской стороне.

По набержной Невы, влево от Литейного моста, перейдя с Литейной стороны, тянутся длинные здания бывшего Михайловского училища и Академии—т. е. специальных военно-учебных заведений. Но знамение времени было таково, что и это вполне специальное учебное заведение не смогло оградиться от тлетворной «революционной» заразы. В начале 1870 года в Михайловском артиллерийском училище образовался особый небольшой кружок, живо интересующийся изучением общественных вопросов,—этот кружок вылился впоследствии, как будет видно ниже из текста, в особый кружок пропагандистов, окрещенный следственною властью в «кружок артиллеристов».

Нет сомнения, что одним из толчков к развитию революционных идей в специальном военном учебном заведении было поступление в военное училище Кравчинского, известного впоследствии под псевдонимом Степняка.

Кравчинский во время пребывания своего в училище был чрезвычайно серьезного и даже мрачного вида юноша, немного сутулый, с большой головой, массивным лбом и резкими чертами лица. Он вечно сидел за книгами у своего столика и мало с кем разговаривал. Даже переходя из одной комнаты в другую, он обыкновенно продолжал читать, не отрываясь от книги.

А летом того же года в лагерях под Красным Селом, в лесу за Дудергофским озером, состоялась сходка воспитан-

ников Михайловского Артиллерийского училища. Было на ней человек восемь Кравчинский произнес речь о неизбежности революционного пути для России и доказывал все преимущества этого пути по сравнению с путем правительственных реформ. Он говорил о французской революции, указывал на огромные перемены, вызванные ею в самый короткий срок, и затем сравнивал с этими огромными революционными завоеваниями ничтожные результаты монархических преобразований. Эта революционная речь Кравчинского может дать теперь довольно верное представление о том, в сфере каких теоретических вопросов вращалась тогда революционная мысль в России. Наиболее горячие и страстные споры вызывались в то время именно этим вопросом о революции или реформах,—можно даже сказать, что им исчерпывалось тогда все содержание революционного движения, так как последнее состояло в то время главным образом в самом решении оного революционерами. Дальнейших, более конкретных революционных задач русская жизнь тогда еще не ставила, да и не могла их ставить, за неимением достаточного количества революционеров.

По окончании курса в Артиллерийском училище, будучи произведен в офицеры, Кравчинский уехал служить в какую-то батарею в провинцию, но уехал туда с твердым решением бросить военную службу, и если и пробыл на ней около года, то только для того, чтобы скопить немного денег из своего офицерского жалования и вернуться в Петербург. И действительно, через год Кравчинский уже был студентом Лесного Института, но и там оставался недолго, уйдя с головою в революционную деятельность, пройдя последовательно все те этапы развития, которые проходила радикальная молодежь 70-ых годов.

Но и в этом революционном развитии Кравчинский не остановился на полпути, а поставил, как говорится, точку на и. Им совершен был первый крупный террористической акт: убийство генерала Мезенцева. При всех приготовлениях к этому беспощадному революционному акту Кравчинский настаивал на том, чтобы ему был, по возможности, придан характер открытого нападения. Спасшись удачно от преследования, он упорно желал остаться в Петербурге, несмотря на то, что в Петербурге была поставлена на ноги

вся полиция. Товарищам стоило большого труда выпроводить его заграницу под каким-то нарочно созданным предлогом.

Вся дальнейшая революционная деятельность Кравчинского в период его заграничной жизни носила преимущественно литературный характер. В своих литературных произведениях он сумел дать яркие картины революционной жизни, какие мог дать только человек, долго живший в самом ее центре, и сумел передать внутреннюю, психологическую сторону русского революционного движения, как мог это сделать только человек, сам переживший и перечувствовавший самые сильные и глубокие впечатления революционной жизни в один из ее наиболее тревожных и драматических периодов.

11 декабря 1895 года Кравчинский погиб совершенно неожиданно, благодаря роковой случайности, на 43 году своей жизни.

Он жил на западных окраинах Лондона среди еще незастроенных пустырей. Один из таких пустырей пролегал между его домиком и квартирою Волховского, так что они обыкновенно ходили друг к другу по этой сокращенной дороге; при этом надо было переходить в одном месте полотно железной дороги; ни сторожа, ни заставы в этом месте не было; каждому предоставлялось самому заботиться о своей безопасности. Утром рокового дня Кравчинский шел по направлению к рельсам, погруженный в какие-то думы, и слишком поздно заметил налетевший на него из-за поворота поезд. Его ударило в голову, и смерть была мгновенна...

«Горько и тяжело мне говорить—так начал при погребении Кравчинского свою речь П. А. Кропоткин—над гробом такого дорогого, такого молодого товарища и друга. Он едва вступил в ту пору жизни, когда человек достигает полного расцвета своих сил. Он жил с такою беззаветною любовью к делу освобождения России, в нем горела такая вера в это дело. Жизнь ключом кипела в нем, в груди было столько силы и энергии, столько могучей воли!

... Он любил русскую жизнь, русский народ... Он верил в народное движение... Чувства личного страха он вовсе не знал. Каждую минуту он мог бы отдать свою жизнь за любое дело—лишь бы оно было глубоко человечное. Чув-

ства личного самолюбия в нем не было даже и в зачаточном состоянии, не понимал он также и чувств партийной узости.

И часто, часто я думал: вот настанет время, Россия проснется, закипит великий переворот: партии, личная вражда и самолюбия будут сталкиваться. Тогда Сергей будет человеком незаменимым, необходимым. Он поймет и других заставит понять—что такое должна быть жизнь народа в такой момент, с ее бесконечным многообразием, как из этого многообразия создается новая жизнь. Это он понимал глубоко.

Я говорю, а его могучий и вместе с тем кроткий образ стоит передо мною. Долго он будет жить среди нас, как связующее звено, как призыв к работе для общего дела, как дорогой образ одного из лучших людей русского движения».

Но, кроме такого крупного деятеля, Михайловское Артиллерийское училище дало еще и целый ряд более мелких, второстепенных работников на ниве революции.

В 1872 году воспитанники Ариллерийского училища Давид Аитов, Теплов, Усачев, Нефедов, товарищи по классу, стали посещать квартиру отставного поручика Е. Е. Емельянова, начальника снаряжательного отдела патронного завода, где встречались с Кравчинским, Шишко Рогачевым, читавшими здесь программы журнала „Вперед“ и интернационального общества, а также доказывавшими необходимость революции, как единственного средства разорвать тот заколдованный круг, в котором находилось общество.

Такого рода учение произвело на вышеуказанных лиц сильное впечатление, почему они в начале 1873 года покинули Артиллерийское училище и поселились на одной квартире, чтобы подготовиться к походу „в народ“. Но прежде чем идти в народ, этот кружок, получивший название „кружка артиллеристов“, счел необходимым изучить какое-либо ремесло. В это время несколько студентов решило устроить слесарную мастерскую, к ним и примкнули Аитов, Теплов и Нефедов; затем решено было заняться изучением и кузнечного ремесла—отыскана была подходящая кузница на Боровой улице.

В начале 1874 года артиллеристы признали себя достаточно подготовленными и решили идти в народ, для чего

приобрели крестьянское платье и запаслись видами на жительство, после чего и отправились на пропаганду в различные места России.

Почти напротив Артиллерийского училища помещается Военно-Медицинская Академия. Хотя Академия и состояла в военном ведомстве, однако, при военном министре Д. А. Милютине строгость николаевской казарменной дисциплины была забыта. Студенты академии ничем не отличались от прочих студентов; более того, их положение было, несомненно, лучше того, в котором находились универсанты и технологи. Хотя официально сходки и не разрешались, но с конца 50-ых годов, особенно при президентах Академии П. А. Дубовицком и П. А. Нарановиче, они фактически допускались. Сходки собирались с ведома начальства; об'явления депутатов о сходках вывешивались около комнаты инспектора, на сходках назначались пособия недостаточным товарищам, выбирались депутаты, управляющие кухмистерской, библиотекою и кассой, существовавшими вполне легально.

В беспорядках 1861 года Военно-Медицинская Академия почти не принимала участия: 2 октября 1861 года студенты собрались на сходку и постановили выразить сочувствие университетским студентам—и только. Между тем, усилившаяся реакция обратила внимание и на Академию, которую признано было необходимым „подтянуть". Прежний инспектор Мерхлевич был заменен полковником Смирновым, который рассмаривал Академию, как военное учебное заведение, и поэтому принялся усердно преследовать курение папирос, длинные волосы, неаккуратный взнос платы и т. п. Тем не менее, обычные выборы курсовых старост, сходки и организации продолжали существовать невозбранно.

Первое покушение на студенческие вольности вызвало первый же взрыв протеста. Полковник Смирнов пожаловался в конференцию Академии на студента Василевского, который и был исключен. Немедленно же начались бурные сходки, вынудившие конференцию войти в переговоры с депутатами студентов и обещать, что Василевский, если не тотчас же, то в скором времени будет принят обратно. Это произошло в ноябре 1868 г. Студенты успокоились.

А в начале марта 1869 года студент Надуткин имел резкое об'яснение с секретарем конференции, профессором Рудневым, который затерял его экзаменационный лист и не только не извинился перед студентом, но и наговорил ему дерзостей. Надуткин в виде протеста подал в конференцию прошение об увольнении, а конфереция, не входя в разбор дела, с легкою душою уволила студента, в данном случае, правого. Товарищи Надуткина возмутились этою несправедливостью, и с 6-го марта начались в здании Академии бурные сходки. Сходки происходили по большей части вечером и de facto допускались начальством. На них присутствовали не только медики, но и студенты других учебных заведений. 8 марта конференция Академии дала студентам позволение подать коллективное прошение за подписью одного студента. Сущность адреса, написанного медиками, заключалась в требовании вернуть в академию как Надуткина, так и Василевского, уволенного еще осенью. 10 марта обсуждалось студентами содержание прошения. На 11-ое была назначена общая сходка для его прочтения. Но 11-го утром инспектор академии Смирнов предложил курсовым старостам уговорить товарищей не приходить на сходку. Старосты отказались исполнить это поручение. Тогда были заперты двери той аудитории, в которой была назначена сходка, и вывешено об'явление инспектора, что он запрещает сходку, по желанию военного министра. Студенческий адрес был оставлен без внимания.

Тем не менее, сходки продолжались, причем аудитории занимались силой. Студенты были возмущены также действиями обер-полицмейстера Ф. Ф. Трепова, по настоянию которого, в сущности, были запрещены сходки, и который прислал одного из своих помощников потребовать, чтобы сходка разошлась. Во время этих, уже запрещенных, сходок было решено снова сделать письменное заявление своих требований, добиваться во чтобы то ни стало разрешения сходок, ибо с правом сходок неразрывно было связано право организаций—кассы, библиотеки, кухмистерской—существовавших до тех пор в Академии невозбранно. В виду репрессий, решено было призвать студентов остальных высших учебных заведений к заявлению аналогичных требований. Были избраны также делегаты для заявления

письменного протеста начальству Академии. 13 марта собралась последняя сходка, человек в 200, которая потребовала инспектора Смирнова для об'яснений. Смирнов не пожелал признать депутатов и вступить с ними в переговоры. Но сходка приняла столь бурный характер, что Смирнов, не желая лично явиться, послал все же студентам извинительное письмо. Но так как его требовали для личных об'яснений, то он без пальто и шапки бежал в клинику профессора Боткина. Студенты осадили клинику и решили даже остаться на ночь, но не расходиться, не об'яснившись со Смирновым. Сходка затянулась с 8 часов утра до 9 часов вечера. Произносились взволнованные речи, время шло, Профессор Боткин к вечеру уговорил студентов выпустить Смирнова, его гостя, и лично провел инспектора через толпу студентов. Студенты разошлись, постановивши письменный протест против поведения конференции и инспектора и решив не допускать чтение лекций и продолжать беспрерывные сходки в стенах Академии, впредь до удовлетворения студенческих требований.

Эта сходка была последнею в Медико-Хиругической Академии. На следующий день, 14 марта, после лекции профессора Сеченова, инспектор арестовал студента IV курса Литвинова, одного из руководителей движения, за «несколько резких слов»; с требованием освободить его были посланы депутаты к президенту П. А. Нарановичу. Депутаты вернулись с известием, что Наранович уволен от должности президента, а на его место назначен член Медицинского Совета „энергичный“ Козлов. В ночь с 13 на 14 марта произошли аресты медиков, причем в первую голову, по приказанию Трепова, были арестованы депутаты. В тот же день Академия была закрыта. В ночь с 14-го на 15-е марта всем приставам столичной полиции был отдан приказ немедленно известить всех проживающих в их районе студентов медиков о закрытии Академии. Всю ночь бегала полиция и будила студентов этим известием, но всех известить не успела. На следующее утро, 15 марта, группа студентов собралась перед зданием Академии; удаленная оттуда, эта группа перешла на лед Невы у Литейного моста, где и состоялась сходка. С трудом полиции удалось удалить и эту сходку; действиями полиции распоряжался сам Трепов.

16 марта полицейские репрессии продолжались: полиция обязала квартирных хозяек, у которых жили студенты, не дозволять ночевать в комнатах студентов их знакомым и товарищам; студенческая столовая была закрыта; желая предотвратить сходки в частных кухмистерских, полиция додумалась до запрещения содержателям частных кухмистерских допускать в помещение более 2-х студентов сразу: таким образом, лишенные дешевого обеда в студенческой столовой студенты (и не только медики, но и прочих учебных заведений) были обречены на полную невозможность обедать где бы то ни было. Это остроумная мера сильно способствовала распространению беспорядков и на другие высшие учебные заведения. Достаточно глупым оказалось и распоряжение полиции не впускать никого на территорию академии, даже больных в амбулаторию и родственников больных в клиники...

Академия долгое время была зачинщиком беспорядков: они начинались в Академии и перекидывались в другие учебные заведения. А 30 ноября 1878 года к трем часам дня к зданию Академии прибыли эскадрон жандармов, сотня казаков и 2 роты лейб-гвардии Московского полка. Студенты были разогнаны и—142 арестованы. Их отвели в пустой манеж Московского полка впредь «до распоряжения», которое последовало только через 9 дней, и в силу которого 37 медиков и 4 ветеринара были высланы из С.-Петербурга, а студенческая читальня была закрыта навсегда.

В 1872 году на Выборгской стороне, на Астраханской улице дом № 38 (планшет IX, № 81) проживали студенты медики Низовкин, Анатолий Сердюков и Доводчиков. Эти студенты, узнав о деятельности студента-технолога Лисовского среди рабочих, решили ему подражать, и Доводчиков стал читать на своей квартире лекции по физиологии. Присутствовавшие несколько раз на этих лекциях Лисовский и Сердюков находили их малополезными, и Сердюков в беседе с рабочими доказывал последним, что существующий социально-экономический строй России несовместим с интересами рабочих, что этот строй крайне вреден для русского народа, и поэтому необходимо, во что бы то ни стало, разрушить его путем насилия рабочих масс, в среде которых с этою целью и должна вестись деятельная пропаганда.

Указывая рабочим на необходимость разрушения существующего порядка, Сердюков вместе с тем об'яснял им и тот новый строй, который должен воздвигнуться на развалинах старого порядка, и при этом говорил и об общинном владении землей, и о союзе промышленных ассоциаций и касался даже женского вопроса, стараясь внушить рабочим целое революционное мировоззрение.

Не довольствуясь своею личною пропагандой, Сердюков пригласил в квартиру Низовкина дочь почетного гражданина Александру Ивановну Корнилову, недавно вернувшуюся из за границы, которая, говорила рабочим, в сущности, то же, что и Сердюков.

Разница между пропагандою Сердюкова и Корниловой заключалась лишь в форме изложения: первый излагал предмет, так сказать, в догматической форме, т. е. выставлял прежде всего известные революционные положения и затем их пояснял рабочим, Корнилова же излагала свою пропаганду в форме рассказов о своих заграничных путешествиях. Доказывая рабочим необходимость социальной революции, Корнилова указывала на их западно-европейских товарищей, на революционные и промышленные союзы последних, на их стачки и сходки, причем рассказывала, что сама присутствовала в Вене на нескольких сходках, и показывала фотографические изображения некоторых ораторов из рабочих.

Так положено было начало, так зародилось то дело—пропаганда среди рабочих, которое особенно удалось и удавалось кружку, получившему название от одного из своих членов, Н. В. Чайковского—кружок чайковцев. Цель кружка понималась его основателями таким образом: они хотели создать среди интеллигенции и преимущественно среди лучшей части студенчества кадры революционно-социалистической или, как чаще выражались тогда, истинно-народной партии в России. С этою целью первоначальными основателями кружка решено было вести систематическую пропаганду среди учащейся молодежи, устраивать кружки самообразования, землячества и так называемые коммуны, состоявшие уже из более тесно связанных между собою товарищей.

Кружком было начато „книжное дело", которое заключалось в распространении как в Петербурге, так и других

университетских городах хорошо подобранной тенденциозной легальной литературы, по возможности, с присоединением к ней запрещенных или из'ятых сочинеиий (преимущественно Чернышевского). С этою целью кружок входил в сношение с некоторыми петербургскими издателями и брал у них на комиссию, с известной уступкой, конечно, значительное количество экземпляров нужных ему изданий, а иногда и прямо покупал за полцены целые издания. Затем все эти издания распространялись по большей части в кредит, причем кружок старался также о выработке и о принятии всеми кружками самообразования одинаковой, в общих чертах, программы чтения и занятий, подготовляя таким путем целое поколение для будущей революционной деятельности в народе. Таким образом были распространены тогда в значительном количестве лучшие книги того времени по политическим и социальным вопросам. Вот более или менее полный список этих книг: Сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, и Некрасова. Сочинения Бокля, Костомарова, Иванова, Сергеевича, Мордовцева, Хлебникова, Берне, Милля Дарвина, Дрепера, Спенсера. Исторические письма Лаврова, Положение рабочего класса Флеровского. Первый том сочинений Лассаля, «Капитал» Маркса; Первый том Луи Блана «История французской революции». Комедия всемирной истории Шерра. Романы Шпильгагена, Швейцера, Цилона, Отщепенца, Соколова. Пролетариат во Франции и об ассоциациях; Шеллера-Михайлова и др. Кружок пытался также с той же целью и сам издавать некоторые книги. Дело велось в таких крупных размерах, что массовое распространение тенденциозных книг скоро обратило на себя внимание правительства и вызвало ожесточенные преследования. Жандармерия стала производить массовые обыски и захватывать книжные склады. Один из самых деятельных членов кружка чайковцев был выслан тогда из Петербурга, а сам Чайковский подвергся четырем обыскам и был дважды арестован по этому делу.

Далее, к 1871 году относится попытка найти эту более широкую и твердую почву для революционного дела в земской среде. Известно, что земства проявляли тогда довольно широкую инициативу в деле устройства народных школ и некоторых кооперативных предприятий,причем земская деятельность

еще пользовалась в то время кое-какою независимостью, а земства некоторых губерний отличались своим демократическим направлением. Все это представляло известные положительные стороны, и кружок хотел убедиться в возможности или невозможности воспользоваться земскими учреждениями и земскими начинаниями в чисто революционных целях, т. е. имел в виду найти очень удобную почву для ведения социалистической пропаганды в народе. Некоторые из членов кружка специально изучали тогда земскую литературу и входили в сношение с земскими деятелями, но скоро должны были придти к совершенно отрицательным выводам. Единственно полезным результатом этой попытки сближения с земствами было то, что в нескольких школах и больницах членами кружка были заняты места учителей, фельдшеров и фельдшериц.

К началу 1872 года кружок чайковцев прекратил всякие дальнейшие искания и попытки и решительно перешел к своей окончательной программе: революционной пропаганде среди петербургских рабочих, а затем и среди крестьянства.

Вместе с Чарушиным, на Выборгской стороне пропагандою занимались Анна Кувшинская, Клеменс, Шишко, Куприянов, Гауэнштейн, Перовская и возвратившийся из за границы князь Кропоткин. Последний был известен под фамилией Бородина.

Сближение с рабочими происходило под предлогом обучения последних грамоте; знакомясь с рабочими, пропагандисты старались прежде всего приобрести их доверие и затем постепенно развивали пред ними свое учение.

Первоначально рабочие занимались в Казарменном переулке, в квартире, в которой жили Шишко и Перовская. (планшет IX, № 82), затем рабочие были приглашены являться в Крапивный переулок (планшет IX, № 83), в квартиру студента университета Хохрякова, где появились Анна Кувшинская и князь Кропоткин, и наконец, по предложению Кувшинской и при содействии Кропоткина и Клеменса, было нанято особое помещение на даче Бабонина в Головинском переулке (планшет IX, № 84).

Очень часто, после обеда—пишет в своих записках Кропоткин,—в аристократическом доме, а то даже в Зимнем дворце, куда я заходил иногда навестить приятеля, я брал

извозчика и спешил на бедную студенческую квартиру в дальнем предместье, где снимал изящное платье, надевал ситцевую рубаху, крестьянские сапоги, полушубок и отправлялся к моим приятелям ткачам, перешучиваясь по дороге с мужиками. Я рассказывал моим слушателям про рабочее движение за границею, про Интернационал, про Коммуну 1871 года.

Они слушали с большим вниманием, стараясь не проронить ни слова, а затем ставили вопросы: „что мы можем сделать в России?“ Мы отвечали: следует проповедывать, отбирать лучших людей и организовывать их. Других средств нет.

Мы читали им историю французской революции по превосходной „Истории Крестьянина“ Эркмана Шатриана. Все восторгались г. Шовелевым, ходившим по деревням и распространявшим запрещенные книги. Все горели желанием последовать его примеру.

«Толкуйте с другими—говорили мы—сводите людей между собою, а когда нас станет больше, мы увидим, чего можно добиться!

Рабочие вполне понимали нас, и нам приходилось только удерживать их рвение».

Кружок был разгромлен. Значительное количество членов было посажено до суда, «предварительно», в Петропавловскую крепость, и это предварительное заключение иногда растягивалось на 2—3 года, превышая в несколько раз то наказание, к которому присуждал суд.

Но на смену „чайковцам“ пришел петербургский студент Вячеслав Михайлович Дьяков с рядом товарищей. Ими пропаганда велась в трех местах — на фабрике Чешера (планшет IX, № 85), на сахарном заводе Кенига (плашет IX, № 86) и в Московском полку (планшет IX, № 87). Для удобства пропаганды и Дьяков с товарищами нанимали особые квартиры—одна из них была на Черной Речке, № 1 (планшет IX, № 88), а другая в указанном нами уже Головинском переулке, дача Бобонина (планшет IX, № 90). Означенный кружок, главным образом, обвинялся не в изустной пропаганде, а в распространении книг: Хитрая механика, Сказка о четырех братьях, История одного французского крестьянина, Емелька Пугачев и Сборник новых песен и стихов-

Наконец, вот еще несколько адресов, которые нам удалось отметить на Выборгской стороне.

На Оренбургской улице, в доме № 23 (планшет IX, № 91), жил каракозовец Цеткин, его адрес был указан Каракозовым в непосланном и не уничтоженном, а только скомканном письме; затем, в Лесном, на существовавшей в то время клеенчатой фабрике, жил Н. Гончаров, автор любопытных прокламаций под общим заглавием „Виселица“. Далее, за Охтою, в деревне Исаковке, одно время укрывалась Ольга Любатович, и, наконец, на Симбирской улице, № 59, кв. 6, № 22, под фамилией Ельникова проживал второй метальщик бомб в Александра II, Гриневицкий, смертельно раненый.

Его поместили в придворный госпиталь, врачи стали приводить его в сознание, а рядом с постелью бессменно дежурили и прокурор и следователи—представители правосудия.

И когда Гриневицкий открыл глаза, то ему тотчас задали вопрос: «ваша фамилия».

Но умирающий человек сумел, несмотря на мучительные поранения, несмотря на то, что смерть уже касалась его своим крылом, сохранить столько силы воли и сознания, чтобы дать гордо-спокойный ответ: «не знаю».

Представителям «правосудия» не удалось выпытать от Гриневицкого какое-либо признание. Гриневицкий так и умер под фамилией Ельникова и под прозвищем «Котик».

Общее замечание — о трудности точного определения местностей, которое мы сделали касательно Выборгской стороны, еще в большей степени относится и к Петербургской стороне. Здесь мы можем только указать несколько адресов, и затем все наше внимание будет посвящено находящейся, как известно, на Петербургской стороне российской бастилии—Петропавловской крепости. Общей истории крепости—ее возникновение, постройка, переделки и пр.—мы не будем здесь излагать, отсылая интересующихся этими подробностями или к нашей книжке «Как возник, рос и образовался Санкт-Питер-Бурх» или к имеющей скоро выйти нашей особой монографии „Петропавловской крепости“.

Осенью 1872 года по Большому проспекту Петербургской стороны в доме Мерка помещалась лудильная мастерская Верещагина, а при ней и квартира заведующего этою мастерскою Александра Васильевича Долгушина. По вечерам

у хозяина квартиры нередко собирались знакомые, причем наиболее частыми посетителями были Иван Иванович Панин, Николай Александрович Плотников и технолог 1 разряда Лев Адольфович Дмоховский. На этих собраниях разрешались разные проклятые вопросы русской действительности, и между ними вопрос о том, как просветить русский народ, как дать ему здравые социальные и экономические понятия.

И кружок Долгушина пришел к тем же выводам, к которым приходили и другие кружки, возникавшие в то время: нужно идти в народ. Но прежде чем пойти в народ нужно иметь материал для пропаганды—отсюда устройство Долгушиным и Дмоховским тайной типографии, в которой и были отпечатаны прокламации «Ко всем интеллигентным людям» и «Как должно жить по закону природы и правды». Эта последняя прокламация, имея главнейшею целью указать на «равенство людей между собою по рождению и равноправность их на землю», исключая всякое понятие о собственности личной, содержит также явное порицание существующего в России порядка вещей, об'ясняя его тем, что цари находятся у нас во власти беззаконных вельмож, кои держат их или устраняют, смотря потому насколько они образом действий своих для них удобны. В то же время вельможи, по словам прокламации, через подкупленное духовенство проповедуют народу в церквах, что царь, посаженный их злодейством, поощритель их беззакония, есть от Бога царь посаженный. Все это подкреплялось в прокламации примерами из отечественной истории.

Наконец, третья прокламация, «Русскому Народу», представляя нынешнее положение крестьян в России в самом безотрадном виде, направлена преимущественно к возбуждению в народе враждебного настроения против существующих законоположений относительно земельной собственности и порядка, принятого при распределении между сословиями податей и повинностей. Указывая на угнетение крестьян, допускаемое правительством со стороны помещиков и чиновников и на намеренное держание народа необразованным, прокламация даже и освобождению его от крепостной зависимости придает значение лишь коммерческого оборота правительства, боящегося, после севастопольской

кампании, финансового банкротства. При этом об'ясняется, что, благодаря проискам барства, крестьяне в этом случае кругом обижены и малыми, плохими наделами и большими оброками. Чтобы выйти из такого положения, прокламация приглашает народ к дружному, согласному восстанию, внушая требовать всеобщего передела земли, управления, составленного из выборных из народа, отмены помещичьих оброков и пр.

Прокламация эта была написана языком простонародным, доступным пониманию большинства крестьян и испещрена текстами Св. Евангелия, коими как бы подкрепляются приводимые в прокламации положения, в том числе и возбуждение к восстанию.

Почти в это же время на той же Петербургской стороне пользовались большою популярностью две квартиры. Одна из них была на большой Дворянской улице, дом № 13. Внутри двора была нанята квартира из 4-х комнат с кухнею, здесь основалась так называемая студенческая квартира (ее основателями были члены екатеринославского и астраханского землячеств) и столовая для приходящих студентов. Столовая была довольно обширная комната, и в ней по вечерам собирались сходки. Сначала сходки эти состояли из студентов, близко друг друга знающих, но когда молва о благодатном уголке для сходок разошлась среди радикальной молодежи, квартира эта превратилась в общее место для сходок. Собирались тут иногда и очень многолюдные сходки. Здесь часто читал свои рефераты и Каблиц, известный потом в литературном мире под псевдонимом Юзова. Здесь же раздался клич — в народ, разбирались программы Лаврова (или, вернее,—журнала «Вперед»), Бакунина, Ткачева и пр. Кроме того, квартира эта была справочным местом для приезжавших из провинции, а в конце концов и местом для ночлега приезжавших в Питер из провинции радикалов. Тут были и из Киева, и из Харькова, и из Ростова. Часто приходилось ложиться при одном составе ночлежников, а вставать при втрое увеличенном их составе. Всякий, не имеющий определенной квартиры, заворачивал на Большую Дворянскую, в дом № 13. Эта квартира даже стала известной начальнику секретного отделения Колышкину, Был выпущен из тюрьмы некто, известный в ради-

кальном мире под именем „Дедушки"; за неимением ночлега он пришел переночевать на эту квартиру. На другой день, по какому то поводу, ему пришлось иметь дело с этим самым Колышкиным и услышать от него: «Вот видите, только вас выпустили из тюрьмы, а вы уже сегодня ночевали в притоне на Большой Дворянской улице».

Другая квартира помещалась на Кронверкском проспекте, в ней жил Кибальчич, и в кружке его была выработана программа по общественным вопросам, по которой каждый член кружка брал по своему выбору ту или другую общественную тему и готовил рефераты. По воскресеньям и четвергам эти рефераты читались и обсуждались; обсуждения эти почасту переходили в бурные прения, затягивающиеся далеко за полночь.

Наконец, в июне 1880 года на Большой Белозерской, в доме № 32/4 недолгое время жила Перовская.

Прежде чем перейти к описанию Петропавловской твердыни вспомним маленький, но характерный для не раз упоминаемого нами Александра Михайлова эпизод, происшедший на Петербургской стороне.

«Михайлов, ничего не подозревая, является на квартиру Трощанского и попадается в ловушку, устроенную полицией. Михайлова арестуют и ведут туда, куда он совсем не хочет идти,—в участок. Но, воспользовавшись оплошностью стражи, он бросился бежать по направлению к Малой Посадской улицы. На крики «держи! лови!» один из публики кинулся было остановить его, но Михайлов выхватил из кармана кастет, и «ревнитель» быстро отскочил в сторону. Повернув за угол, Михайлов увидел довольно многочисленную толпу, которая слышала крики. Тогда, чтобы сбить ее с толку, он сам принялся кричать: «держи! лови!» Толпа оторопела, не зная, что ей делать, и Михайлов пробежал мимо. Далее, увидев забор огорода, он перескочил через него и скрылся. Когда он перескочил через забор, он шлепнулся в лужу и испачкался с ног до головы грязью...»

«Неограниченная монархия невозможна без Тоуэра или Бастилии»—так начинает П. Кропоткин: III главу своей книги «В русских и французских тюрьмах» «Петербургское правительство не представляет исключения из этого правила и имеет свою Бастилию—Петропавловскую крепость».

«Всякий бывавший в Петербурге, конечно, видал—так известный исследователь русских тюрем и каторги Кенан характеризовал Петропавловскую крепость — высокий позолоченный шпиц, возвышающийся на 400 футов над низменным берегом Невы против Зимнего дворца. Это — шпиц на колокольне Петропавловского собора, в котором покоятся останки руских царей, а вокруг которого, почти на такой же глубине, томятся враги самодержавия.

Петропавловской крепости не пришлось ни разу отражать врага, выполнить, таким образом, истинное призвание крепости, но зато чуть ли не с самых первых дней своего существования она выполняла значение крепости самодержавия, тщательно скрывая в своих стенах всех тех, кто не страшился выступать против самодержавия.

С 1718 года — года заключения в крепость царевича Алексея Петровича—вплоть до 1918 года, т. е. впродолжение 200 лет, Петропавловская крепость несла свою мрачную, ненавистную службу «самой большой государственной тюрьмы в России, в которой рано или поздно бывают заключены все важнейшие и опаснейшие политические преступники».

Одно из первых описаний казематов Петропавловской крепости принадлежит Д. Ахшарумову, одному из петрашевцев. Вот как он описывал свое «казенное» помещение:

«Когда я увидел при дневном свете мое новое жилище, глазам моим предстала маленькая грязная комната; она была узкая, длиною сажени в 2$^1/_2$ или менее, ширина сажени 1$^1/_2$, с высоким потолком, стены, оштукатуренные известью, давно потерявшей свой белый цвет. Они были повсюду испачканы пальцем человеком, не имевшим бумаги для своего обыкновенного употребления. С одной стороны было окно, очень большое (сравнительно с величиною комнаты), с маленькими клетками стекол, замазанных все до верхнего ряда белою, пожелтевшею масляною краскою. Верхний ряд стекол был только не закрашен и оканчивался с правой стороны форточкою, величиною в $^3/_4$ листа писчей бумаги. За окном была железная решетка. В противоположной окну стороне—дверь, массивная, окованная железом и большое грязное зеркало изразцовой печи, затапливающейся снаружи. В комнате, кроме кровати, был столик, табуретка и ящик с крышкою (по тюремной терминологии—„параша“;

это слово, как ни странно на первый взгляд, но несомненно не русское, это перековерканное немецкое: „für achen“), на площадке окна стояла кружка с водою и догоравший светильник—плошка или черепок, наполненый застывшим салом, в который воткнута была светильня».

Режим в Петропавловской крепости в то время нельзя было бы назвать черезчур тяжелым. У того же самого Ахшарумова находим следующие строчки:

«В эти дни произошла внезапно большая перемена и в содержании арестованных: постель изменилась совершенно, тюфяк и подушки ветхие, жесткие были приняты и замены новыми—чистыми, мягкими. Поданы были новые одеяла и халаты байковые, темно-серые, мягкие. Грубое белье все было заменено более тонким и мягким. Все это казалось мне ничтожным и вовсе не утешительным, но когда я лег на мягкую и чистую постель, мне она показалась чудесною, и я всеми членами отдыхал от прежнего жесткого ложа. В это время последовало и изменение в пище: вместо солдатской порции стала подаваться офицерская».

Относительно пищи в то время была льгота—родственники могли присылать осужденным и заключенным фрукты, конфекты, разные припасы; заключенные имели право курить, и, наконец,—конечно, с разрешения тюремной администрации,—разрешалась самая широкая присылка с воли книг.

И Д. Д. Ахшарумов так описывает конец своего тюремного пребывания:

«Утром чай, затем латинские стихи Ювенала, смотрение в окно, стихотворный бред, обед, кормление голубей. Темнело уже в 3 часа пополудни,—зажигание свечи, чтение Купера, Гете... присутствие тараканов, вечерний чай.

И все эти занятия прерывались беспрестанным чувством томления и страшной тоски, Иные дни были сносные, другие еле переносимые, с трудом доживаемые до ночи...»

Лет через двадцать после Ахшарумова в Петропавловскую крепость в Трубецкой бастион попал П. А. Кропоткин, который нам дал двойное описание крепости—в своих Записках и в специально написанной книге «В русских и французских тюрьмах». Мы предпочли цитировать описание крепости по Записками, так как это описание нам кажется более непосредственным и, пожалуй, более правдивым;

во втором сочинении, написанном с определенною агитационною целью, слишком видна предвзятость, слишком резко выделяется подчеркивание точки на ї".

Вот описание Кропоткина.

«Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окна—его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толщине стен. Меблировку составляли железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо закрашенным войлоком, а стены выклеены желтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я заметил проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в корридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним, но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. Через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда не мог добиться ни слова от часового.

Кругом царила глубокая тишина. Я придвинул скамейку к окну и стал смотрет на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить меня. Я попробовал петь, вначале тихо, потом все громче и громче. «Ужели мне во цвете лет любви сказать: прости навек», пел я из «Руслана и Людмилы».

— Господин, не извольте петь! раздался густой бас из-за двери.

— Я хочу петь и буду.

— Петь не позволяется,—басил солдат.

— А я все-таки буду.

Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости, и так далее.

«Но если у меня засорится горло, и легкия отучатся действовать, если я не буду ни говорить, ни петь»—пробовал убеждать я.

— Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя—просил старый смотритель.

Но в просьбе не было надобности. Чрез несколько дней у меня пропала охота петь. Я пробовал было продолжать петь из принципа, но это ни к чему не повело.

„Самое главное—думал я—сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастики—не надо поддаваться обстановке. Десять шагов от угла в угол—уже не худо. Если пройти полтораста раз—вот уже верста.

И я решил делать ежедневно по семи верст: две версты утром, две перед обедом, две после обеда и одну перед сном. Если положить на стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола, думал я, то легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперед. Ходить надо скоро, но поворачивать в углу медленно, чтобы голова не закружилась,—и всякий раз в другую сторону. Затем дважды в день буду проделывать гимнастику с моей тяжелой табуреткою.

Я поднимал ее за ножку и держал в вытянутой руке, затем вертел ее колесом и скоро научился перебрасывать ее из одной руки в другую через голову, за спиной и между ногами.

Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и предложил кое-какие книги; между ними были старые знакомые, как то—«физиология обыденной жизни» Льюиса; но второй том, который мне особенно хотелось прочитать снова, куда-то затерялся. Я попросил, конечно, письменные принадлежности, но мне наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе, как по специальному разрешению царя. Я, конечно, сильно страдал от вынужденной бездеятельности и начал сочинять в памяти ряд повестей для народного чтения на сюжеты, заим-

ствованные из русской истории—нечто в роде «Mystères du Peuple» Евгении Сю. Самую идею мне подали «Очерки из истории рабства», которые я прочел в одной из старых книжек «Дела». Я придумывая фабулу описания, диалоги и пробовал запомнить все от начала до конца. Можно себе представить, как изнурила бы мозг подобная работа, если бы я ее продолжал больше, чем два или три месяца. Брат Александр, однако, выхлопотал для меня разрешение иметь письменные принадлежности... Месяца через два или три после моего ареста ко мне в камеру вошел смотритель и сообщил, что царь разрешил мне окончить доклад для Географического Общества, и поэтому мне будут выдавать письменные принадлежности: „но только до заката солнца",—прибавил он. Солнце зимой в Петербурге закатывается в три часа. Но делать было нечего: «До заката»,—так выразился, Александр II, давая позволение.

Итак, я мог снова работать.

Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согласился бы жить на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы мне разрешили работать».

Считаем уместным напомнить здесь, что знаменитый роман «Что делать» написан Чернышевским в тех же казематах Трубецкого бастиона, и что в нем же Д. И. Писарев написал ряд своих блестящих статей, а князь Кропоткин писал здесь же о ледниковом периоде... Продолжаем выписку из записок Кропоткина.

«Хуже всего было гробовое молчание, царившее кругом. Напрасно стучал я в стены, топал ногой о пол и прислушивался, не раздастся ли в ответ хоть слабый звук,—но ничего не было слышно. Прошел месяц, затем два, три, потом год — ответа на мой звук не было: нас в 36 казематах было только 6 человек, и звуки не доходили от одного к другому.

Когда я спрашивал унтер-офицера, входившего ко мне, чтобы вести меня на прогулку: какова погода? дождя нет?— он искоса окидывал меня взглядом и скрывался за дверьми, где караулил его другой унтер-офицер. Единственным живым существом, от которого я мог порой слышать несколько слов, был смотритель, входивший каждое утро в

мою камеру, чтобы спросить, не нужно ли купить табаку или бумаги. Я пытался завязать с ним разговор, но смотритель тоже робко оглядывался на унтер-офицера, стоявшего в полуоткрытых дверях. Лицо его как будто говорило: „вы видите, меня также сторожат". Только одни голуби не боялись меня. Каждое утро и после обеда они слетались к моему окну, чтобы получить корм, который я им бросал сквозь решетку.

Никакие звуки не долетали до меня, кроме скрипа шагов часового, едва слышного шороха заслонки в глазке, да перезвона курантов на колокольне крепостного собора. Каждую четверть часа они играют «Господи, помилуй» раз, два, три, четыре раза. Затем большой колокол отбивает протяжно, с большими промежутками между ударами, часы. И тогда начинается жалобный перезвон курантов, которые при каждой внезапной перемене погоды расстраиваются, и из гимна „Коль славен" получеется ужасная какофония, напоминающая звон на погребение. В глухую полночь после „Коль славен" куранты играют еще „Боже царя храни". Перезвон продолжается тогда целую четверть часа. И едва только он прекращается, как новое „Господи, помилуй" возвещает не могущему заснуть заключенному, что прошла опять четверть часа его бесполезной жизни, и что немало еще подобных четвертей, получасов, и дней, и месяцев растительной жизни пройдет, покуда освободят его тюремщики или же смерть.

...Подо мною сидел крестьянин... Но если одиночное заключение без всякой работы тяжело для интеллигентных людей, то гораздо более невыносимо оно для крестьянина, привыкшего к физическому труду и неспособного совершенно читать весь день подряд... К великому моему ужасу, я стал замечать, что крестьянин порой начинает заговариваться. Постепенно его ум все больше затуманивался... Шаг за шагом, день за днем он приближался к безумию, покуда разговор его не превратился в настоящий бред. Тогда из нижнего этажа стали доноситься дикие крики и страшный шум... Крестьянин помешался, но его, тем не менее, еще несколько месяцев продержали в крепости, прежде чем отвезти в дом умалишенных...»

Картина крепости у Кропоткина более мрачная, чем у Ахшарумова, но все же эта картина является прямо райским пейзажем в сравнении с тем, что произошло после, не в 70-ых годах, когда сидел Кропоткин или не в 50-х годах, когда был заключен Ахшарумов, а в 80—90-х годах прошлого столетия.

Вот выдержка из письма, датированного августом 1883 года:

...«Правила для лиц, находящихся на каторжном положении в Трубецком бастионе Петропавлоской крепости: Лица, находящиеся на каторжном положении, остаются в бастионе четверть всего срока каторги; лица, осужденные на бессрочную каторгу, остаются здесь на неопределенное время, и срок нахождения для них зависит от особого распоряжения. Вышеупомянутые лица содержатся в Трубецком бастионе на общем каторжном положении. Собственные вещи у них отбираются, и взамен выдаются 3 рубахи, 3 пары подштанников из арестантского холста, 3 пары онуч, 2 пары котов, подбитых железными гвоздями, 1 пара штанов из арестантского сукна, подшитых холстом, 1 куртка, также подшитая холстом, халат с тремя тузами, шапка из равендукского сукна; на зиму полагается сверх того: пара суконных онуч, тулуп, доходящий до колен, шапка с ушами, завязывающимися под бородою, и лоскутом, прикрывающим затылок.

Пища отпускается обыкновенная „арестантская", но какая и в каком количестве, не перечислено. Покупка с'естных припасов и лакомств на собственные деньги строго воспрещается. Так же строго воспрещается и курение табака.

Лица, находящиеся на каторжном положении, лишаются права пользоваться книгами из библиотеки, находящейся при бастионе.

Постель состоить из войлока и подушки, набитой соломой.

Заключенные вполне подчиняются тюремной администрации. В случае совершения преступления, заключенные подвергаются суду, который присуждает их к наказаниям, определенным законом для ссыльно-каторжных. Соответствующие статьи закона любезно выписаны. По ним за менее важные преступления суд приговаривает к шпицрутенам до 8 тысяч ударов, к плетям до 100 ударов, к розгам до 400 ударов; за проступки заключенные подвер-

гаются административным взысканиям, и администрация крепости может присудить к содержанию в карцере от 1 до 6 дней на хлебе и воде, к плетям, но не более 20 ударов, к розгам, но не более 100 ударов.

Вопрос относительно занятий заключенных еще не решен. Лица, находящиеся на каторжном положении, пользуются прогулками наравне с другими. В действительности, мы, каторжные, гуляли по 10 минут в 48 часов, тогда как, состоя под следствием, мы пользовались ежедневно прогулками. Часто прогулки при теперешнем положении нашем совершенно отменяются впродолжение 3—4 дней, без всякой видимой причины.

Вопрос относительно ношения кандалов и бритья голов еще не решен утвердительно, но обе эти меры могут быть введены во всякое время. Бритье голов действительно давно введено.

Относительно пользования баней, врачебной помощью и правом призыва духовника, состоящего при крепости, никакой перемены не происходит.

Познакомившись с «правилами», вы соглашаетесь с смотрителем, что никаких вещей требовать не будете. Если на ваше заявление о самых насущных нуждах отвечают угрозами, что подвергнут вас ударам плетей и шпицрутенов, давно отмененных законом, вы, естественно, станете молчать.

Вам остается страшный, безмолвный протест голодовки, и к нему, на собственную погибель, вы будете отныне прибегать.

Однако, надо же выяснить, кто автор этих правил, чья воля втечение годов будет вас держать над медленным огнем, не давая ни жить, ни умирать.

Вы звоните, и к вам с шумом врывается служитель в сопровождении жандарма.

— Вы понапрасну не звоните,—кричит служитель, мы сами знаем, когда придти. Прочитали правила?

— Я прочитал правила, но в них многое не ясно; я желаю поговорить со смотрителем. Позовите его ко мне.

— Придет, когда будет время; сегодня или завтра, а может быть чрез три дня, а может и через недели три.

Благорасположенные посетители удаляются. Вы кидаетесь на грязную постель и снова вскакиваете, вы мерите казе-

мат шагами... Вы переживаете агонию, самую адскую агонию живого существа. Вы чувствуете, что глаза ваши начинают принимать выражение раненого насмерть. Уже вы находитесь в новом положении, уже вы чувствуете на себе его стопудовую тяжесть, и все же ум отказывается в него верить: как—из часа в час, изо дня в день, из года в год сидеть в четырех отвратительных стенах, без занятий, без возможности остановить на чем-нибудь измученную мысль? Это неминуемо должно повести роковым образом к умопомешательству.

Вскоре вы открываете новые опасности. Вам становится ясно, что темнота и отсутствие воздуха быстро обескровят вас, холод и сырость, в соединении с негодною пищею, предадут ваше тело цынге, десятки других болезней явятся к ней на помощь.

Но вот он—самый злейший из ваших врагов. Как бы сильны вы ни были душой, вы не решитесь оглянуться на него. Страшным, страшным призраком он стоит за вашей спиной, и самое дыхание его содержит в себе тысячи смертей... Это—время.

Так проходит для вас первый день.

Вечером зайдет смотритель и скажет, что правила введены 6 лет тому назад и одобрены в новейшее время департаментом государственной полиции, и что ни он, ни комендант не имеют права что-либо изменить в вашей судьбе.

Итак, вот кто изобретатели наших мер: это бывшие заправилы III отделения, это—Оржевский, Плеве и пр. Известная доля авторства неот'емлемо принадлежит генералу Ганецкому, так как действительность еще превзошла правила, и этот плюс целиком должен быть отнесен на его счет.

Если он не имеет права облегчить вашу участь, он имеет полнейшее право ухудшить ее—и он не преминул положить полено в общий котел.

Но Оржевский, Плеве, Ганецкий—все это только выполнители высшей воли. В личной яростной мести царствующего дома кроется источник наших мук. Это ясно из того, что мы попадаем сюда по высочайшему повелению, и никто не может быть переведен отсюда в положение ссыльно-каторжных иначе, как по высочайшей милости; но если отправ-

ка, в каторгу считается величайшею милостью, то при дворе не могут не знать подробно нашего здешнего положения. Конечно, заслуживает серьезнейшего внимания, что ненависть высочайших особ нашла себе услужливых и быстрых на руку исполнителей во всех слоях русских людей. Начиная с сановников и кончая последним крепостным служителем—все это кинулось истязать нас со сладострастием, с горящими глазами, оскаленными зубами, раздутыми ноздрями, трепещущими членами. Зверская жестокость кроется под наружным видом русского благодушия. Но не станем слишком строго порицать народный характер. В действиях этих приспешников обнаружился характер всякой сбродной толпы, всегда готовой на акт исступленной жестокости.

Мы обречены на верную безусловную смерть.

Вот, например, состав нашей пищи: утром и вечером в 7 часов кружка кипятку, большею частью мутного и вонючего. Порция ржаного хлеба в 3 фунта; в 11 час. полкружки квасу; в 12 часов обед, состоящий по понедельникам, вторником, четвергам и субботам из чашки щей и гречневой размазни, без масла и остывшей, так что нет возможности ее есть; в щах плавают крошечные кусочки мяса, числом 4—5. Вечером в 6 часов ужин: остатки утренних щей, разбавленных водой, но уже без признаков мяса. По средам и пятницам постная пища. Посты эти введены генералом Ганецким (комендантом крепости). К обеду гороховая похлебка и гречневая каша в весьма умеренном количестве; то и другое подправлено постным маслом. К ужину та же похлебка, разбавленная водой. В воскресенье—манный суп с несколькими волоконцами мяса и 7-ой раз в неделю гречневая каша. Хлеб часто имеет примесь песку, а гречневая каша сплошь и рядом затхлая. При этом пища всегда подается остывшей».

Уже одно обсуждение правил для каторжников Трубецкого бастиона заставляет содрогнуться. Но каково же будет впечатление от полной картины жизни? Заранее можно сказать—ужасное. Описание полной картины крепостной жизни дал в своих воспоминаниях Поливанов.

Начинается описание с того момента, как Поливанов подъезжал к крепости:

«С каждой секундою стены Петропавловской крепости становились все ближе и ближе, и я с жадностью смотрел в окно кареты, желая запечатлеть в памяти все, что проходило перед моим взором. Теперь, в тяжелые минуты прощания с вольным светом, все казалось мне близким, родным, все обращало на себя внимание... Вот мы проехали через Кронверкский проспект, и перед нами показались стены крепости, под'емный мост, перекинутый через канал у ворот, казавшихся мне пастью чудовищного зверя. Вот мы уже катились беззвучно по деревянной настилке этого моста, и я только успел бросить прощальный взгляд на Неву, над которой уже начинал сгущаться вечерний туман, как мы очутились в крепостных воротах. Мы поехали сначала по направлению к собору, мимо бульварика и расположенного за ним белого двухэтажного здания, где помещалась какая-то канцелярия; потом мы выехали на площадь, и карета взяла наискось, левее, и мы направились к узкому деревянному забору, идущему от крепостной стены или здания, примыкающего к стене и монетному двору.

Через ворота в этом заборе шла дорога в Трубецкой бастион; ворота распахнулись перед нами очень быстро и предупредительно, и мы в'ехали в узкий переулок, с правой стороны которого шел очень высокий деревянный забор, отделяющий территорию Монетного двора от Трубецкого бастиона, а слева—двухэтажное здание, нижние окна которого выходили на тротуар. Здесь начиналась Екатерининская куртина, в верхнем этаже которой помещался архив в громаднейших залах. В одной из них часто производятся допросы сидящим в Трубецком бастионе, там же судили верховным судом Каракозова (1866 г.) и Соловьева (1879 г.). В нижнем этаже находятся одиночные камеры, выходящие окнами на Неву. До постройки тюрьмы Трубецкого бастиона Екатерининская и Невская куртины были обычным местом заключения следственных политических арестантов. Проехав по переулку несколько шагов, карета остановилась у под'езда, ведущего в тюрьму Трубецкого бастиона... На крыльце показался сторож, носивший название присяжного, и махнул рукою. Мы (т. е. Поливанов и сопровождавший его жандарм) поднялись на крыльцо и, пройдя караульную комнату мимо солдат-гвардейцев, куривших цыгарки, и их ружей, поставленных

в козла, очутились в большой, мрачной и донельзя грязной комнате. Она слабо освещалась двумя окнами, выходящими в тюремный садик. Нижние стекла этих окон были матовые. В правом переднем углу стоял грязный деревянный стол, а за ним по обоим сторонам угла шла глаголем деревянная же скамейка. У левой стороны находилась круглая печь, обитая железом, а далее, в левом углу, виднелась узкая дверь, окрашенная в темно-вишневую краску. От этой двери был растянут старый половик... Тюрьма Трубецкого бастиона имела вид пятиугольника. Четыре стены тюрьмы шли параллельно фасаду бастиона, а пятая сторона лежала против его горжи. Эта последняя сторона была занята приемной комнатою и квартирою смотрителя. Помнится, в ней же находилось помещение для свиданий чрез решетку. По остальным четырем сторонам идут камеры, по восемь номеров в каждой, да еще на четырех углах имеются площадки с изолированными камерами, так что в каждом этаже имеется 36 камер, всего же, значит, 72. Из коридора у каждой из камер, на высоте аршин двух, был прибит железный, окрашенный белою краскою, бак для воды—ибо водопровода в камерах не было... Я прошелся несколько раз по камере и осмотрел её. Длиною она была, помнится, шагов 8—9 и очень высока. Я только концами пальцев мог достать до краев косого подоконника, само же окно, на высоте не менее, если не более сажени и давало, как я мог убедиться в этом на следующий день, очень мало света: хотя стекла не были матовые, но стены бастиона были на очень небольшом расстоянии от окна, в которое никогда не мог проникнуть ни один солнечный луч. Даже во втором этаже, куда меня перевели на третий день, окна были значительно ниже валганга, так что и там было темновато, особенно осенью и зимою. Мебель состояла из железной кровати, прикованной изголовьем к стенке. Ножки этой кровати были вделаны в асфальтовый пол; перед ней было нечто вроде стола, роль которого играл железный лист в осьмушку дюйма толщиной, вделанный в стену у изголовья кровати. Этот стол опирался на две железные полосы, один конец который был вделан наглухо в стену, а другой приклепан к нижней поверхности стола. Кроме этого было только два предмета: с правой от входа стороны двери кран, а под ним раковина, а с левой—неудо-

бназываемое учреждение с ведром, тоже прикованное к стене (параша). Таким образом, во всей камере не было ни одного предмета, который можно было бы передвинуть с места на место. А потому забраться на окно не было никакой возможности. В камере была страшная грязь, сырость, капли воды, сбегавшие с подоконника, образовывали к утру целую лужу... Внешняя сторона моей жизни проходила так: утром часов в 7 мне приносили ломоть черного хлеба, полотенце, которое затем отбирали, и подметали пол. В 12 часов раздавали обед—омерзительный, нужно сказать. В скоромные дни он состоял из щей или из жиденького манного супа, в котором по солдатской поговорке «крупинка за крупинкой гонится с дубинкой», гречневой каши в весьма умеренном количестве, а в постные дни (среда и пятница)—из гороха или супа с признаками снетков и кеты, с постным маслом. В семь часов давали ужин—остатки щей или супа, разбавленные в изобилии кипятком».

А вот описание Алексеевского равелина, находящееся в тех же самых записках: «пройдя небольшое расстояние по переулку, мы свернули налево в какие-то ворота, которые вели в пролет, очень длинный и очень темный; очевидно, он шел под зданием, примыкавшим к крепостной стене. На пути нам попадались и слева и справа какие-то под'езды, какие-то ворота. Потом тьма сгустилась уже до того, что ничего нельзя было разобрать, мы шли уже сквозь толщу крепостной стены. В конце подворотни мы остановились, и я, несколько освоившись с темнотой, увидел, что нахожусь в нескольких шагах от окованных железом ворот. Они распахнулись, и предо мною открылось поле, занесенное снегом, далее—какой-то мостик, с горевшими на нем двумя фонарями, а за ним небольшой островок с низким одноэтажным зданием. Жандармы подхватили меня и, почти неся на руках, быстро поволокли по направлению к этому мостику. Выйдя за ворота, я видел направо и налево стены крепости, уходившие во тьму, затем, далее, за полоской земли, окаймлявшей стены,—темную, даже черную поверхность еще незамерзшей Невы, казавшейся, быть может, более темной, чем на самом деле, благодаря снегу, покрывавшему землю. Впереди был мостик, о котором я говорил, а за ним здание Алексеевского равелина. Близ мостика передо мной мелькнула

закрытая до сих пор выступом Трубецкого бастиона набережная противоположного берега Невы или, лучше сказать, ряд фонарей, тянувшихся огненным пунктиром вдоль набережной... Но мы идем быстро, жандармы тащат меня чуть ли не на рысях; огни исчезли, мы уже перешли через мостик. Алексеевский равелин совсем уже близко—и мрачно смотрит на меня темными окнами, напоминающими пустую глазницу черепа; было заметно сразу, что стекла были матовые. Пройдя шагов 25—30 от крепости, мы остановились перед воротами, в которых была калитка с оконцем, забранным снаружи решеткою из медных прутьев. Калитка распахнулась, меня ввели в подворотню. Отворивший нам калитку старший унтер-офицер жандармского караула пошел впереди, минуя первое крылечко с правой стороны, которое, как я убедился впоследствии, вело в караульное помещение, повел нас во второе. Я заметил, что напротив его по левой стороне подворотни было точно такое же крылечко с двумя каменными ступеньками. Недалеко от этих крылечек были другие ворота, точно такие же, как и наружные, которые вели в садик, служивший местом прогулки заключенных. Внутренность корридора, в который мы вошли, поразила меня своею неприглядностью. Этот корридор слабо освещался маленькою керосиновою лампою, поставленной на одном из окон, которые были расположены на левой стороне, выходившей в садик. Окна были не велики и находились очень высоко, пожалуй, даже выше среднего человеческого роста. С правой стороны шла сначала глухая стена, потом виднелась белая дверь в углублении стены, запертая засовом, а над нею дощечка с надписью № 4. Дверь следующего номера, пятого, была открыта, и жандармы, все еще не выпускавшие меня из рук, втащили меня так быстро туда, что я успел только бросить беглый взгляд и заметить, что против моей камеры корридор поворачивает под острым углом налево, и что по его правой стороне был расположен ряд камер. Мне удалось увидеть только дверь № 6... Первое, что поразило меня (в камере Алексеевского равелина)—это были стены. Мне казалось, что они аршина на полтора от пола были обиты черным бархатом, а выше выкрашены в казенный бледно-бланжевый цвет. Для красоты под потолком шла красная полоса в виде бордюра. Я подошел к стене и уви-

дел, что этот бархат был ничто иное, как черно-зеленоватая плесень, покрывшая бархатным ковром всю нижнюю часть стены; повыше она изменяла цвет на бледно-розовый, далее же на белый и располагалась уже не таким толстым слоем. Стекла были матовые, и на них лежали черными полосами тени перекладин решетки. Налево от входа—весь угол заполняла огромная изразцовая печь, топившаяся из корридора, несколько ближе к двери—деревянное учреждение с ведром. В расстоянии аршина полутора от левой стены стояла деревянная постель, покрытая ветхим одеялом старомодного рисунка, бывшим некогда белым с красными полосками, но пожелтевшим от времени. У кровати стоял деревянный крашеный стол, ящик из которого был вынут, и такой же стул с высокою спинкой. На столе стояла большая глиняная кружка с водою, жестяная лампочка и коробка шведских спичек. Порядок жизни в Алексеевском равелине не отличался много от того, который был в Трубецком бастионе: утром с 7 часов начинался обход камер и раздача хлеба, тут же начиналась прогулка для тех, чья очередь приходилась в данный день. Так как ежедневно гуляла только половина тюрьмы, то к 9 часам прогулка кончалась; потом приходил доктор, и затем до вечера наступала такая тишина, какая в Трубецком бывала только по ночам, да и то не всегда. Ровно в полдень слышались шаги солдат, несущих обед, и звяканье шпор Ирода (так заключенные прозвали смотрителя). Затем раздавались хлопанье дверей и грохот засовов, которыми сопровождалась всякая раздача пищи. Белье меняли каждую субботу; по субботам же, раз в 6 недель, бывала у нас ванна. Мыла, тем паче зубного порошка, я не видал все время заключения в Петропавловской крепости, кроме как в ванне; равным образом и другой, столь необходимой в житейском обиходе вещи—носового платка, считавшегося начальством тоже излишнею роскошью».

Таковы картины Трубецкого бастиона и Алексеевского равелина; последний не сохранился до наших дней, на его месте возвышается архив инженерного ведомства; исчез безвозвратно и тот садик, который, как увидит читатель, так поэтически описал Поливанов. Чтобы усилить впечатление, оставить его более неизгладимым, считаю нужным привести

из тех же воспоминаний главные моменты жизни заключенных,—моменты, особенно сильно влиявшие на психику.

Момент первый: «Ну, иди!» обращаясь ко мне, сказал капитан Домашнев. Я просто остолбенел и не тронулся с места. В первый раз я услышал обращение на «ты»... и кровь ударила мне в голову. Трудно передать, что я перечувствовал втечение нескольких следующих секунд. Я знал, конечно, что со мною не будут обращаться, как с принцем крови, я, казалось, был готов ко всем страданиям, лишениям, унижениям; я говорил, что такого рода нравственные надругательства, как бритье головы, кандалы, обращение на „ты" не могут иметь в моих глазах характера личного оскорбления. Это—общеобязательная, прилагаемая ко всем каторжникам норма, это одно из средств, которыми существующий государственный строй борется со своими врагами... И много, много рассуждал я в этом роде. Но увы! не в первый раз оказалось, что броня философа не в силах защитить от комариного укуса. Ум может говорить, что ему угодно, но всякая логика бессильна, когда чувство в разладе с умом».

Момент второй: «Надо раздеться»—обратился он ко мне. Меня обступили вошедшие вслед за ним присяжные и жандармы, и, при помощи дюжины умелых рук, через две минуты я остался, в чем мать родила. Один взял мою шинель и передал ее другому, тот—третьему, и в один миг она исчезла из камеры. В то же время один тащил с меня пальто за левый рукав, другой за правый, третий стал на одно колено и снимал с меня штиблеты. Я поразился быстротой и отчетливостью, с какой все это делалось: не было ни суетни, ни толкотни, ни излишной поспешности, а дело так и кипело. Видно было, что это дело им очень знакомо, и в нем выработались свои определенные приемы. Когда я был совершенно раздет, то две пары дюжих рук легли ко мне на плечи, и я опустился на стул, неведомо откуда появившийся. Тут началась последняя и вместе с тем самая тяжелая, самая унизительная часть обыска. Один стал перебирать мои волоса гребенкой и пальцами, другой искал не запрятано ли что-нибудь между пальцами ног, третий полез ко мне в ухо, а двое, держа меня за руки, шарили под мышками. Искали, словом, везде, где только можно бы-

ло предположить какую-либо контрабанду. Я никогда бы не поверил, что служебное рвение может простираться так далеко. При первом прикосновении жандармских рук у меня потемнело в глазах, и я видел только рой каких-то блестящих точек, прыгающих по всем направлениям. Да, встряска была порядочная!»

И, наконец, момент третий: «Алексеевский равелин был ужасным и таинственным местом заключения, входя в которое нужно было оставить всякую надежду... Здесь человек терял свое имя, здесь не допускалось никаких сношений—ни личных, ни письменных—даже с самыми близкими родственниками; арестант умирал для всего мира. Здесь не было никакого закона, кроме монаршей воли, и эту тюрьму посещали только царь, шеф жандармов и комендант крепости».

И, несмотря на все это, вот какие воспоминания о месте прогулки—о тюремном садике—сохранились у арестанта Алексеевского равелина: «Летом наш садик имел очень миленький вид: все в нем цвело и зеленело, клумбы покрывались лилиями, листва березок так приятно ласкала взгляд; но и они, бедняжки, испытывали на себе влияние неволи. Растя как бы на дне колодца—поверхность сада была ниже пола зданий—окруженные стенами, они жадно тянулись к теплу и свету, а потому были гораздо тоньше, чем должно было им быть; но все же росли они хорошо и сравнялись уже верхушками с коньком крыши тюремного здания. Про липу и говорить нечего: она уже давно переросла крышу, и вершина ее всегда была залита солнечным светом. Яблони роскошно цвели весной и приносили к осени много яблок, которые, однако, почти все обрывали жандармы, даже не давая им вызреть, как следует. В саду росли еще: старая ветвистая бузина—излюбленное место воробьиных собраний, точно клуб какой-то, где всегда раздавалось задорное чиликанье, так приятно нарушавшее тюремную тишину. Кусты по краям дорожки краснели от ягод. Одна только елочка, посаженная, видимо, недавно кем-нибудь из наших ближайших предшественников—Ширяевым или Нечаевым—хирела, словно тоскуя о родном просторе моховых болот.

Порой так приятно было сидеть на скамеечке под липой, в тени которой сидело несколько поколений русских радикалов,

любоваться зеленью, цветами, следить за тем, как в лазурном небе пробегают белые облачка, и парят с резким криком чайки—наши волжские мартышки—сверкая на солнце белым брюшком, так напомнившие мне много, много счастливых минут, пережитых мною еще в недалеком прошлом, но которое казалось теперь таким далеким. Тюремная стена так круто и резко отрезала меня от него, что теперешняя моя жизнь казалась не продолжением этого прошлого, а каким-то новым, вторым существованием, нисколько не похожим на бывшее. Я жадно прислушивался ко всем долетавшим до меня звукам: и пароходные свистки, и доносившаяся по временам музыка из Летнего сада, и рев слона в Зоологическом саду, что был на Петербургской стороне—все, все звуки (особенно отчетливые по вечерам: теперь нас было так много, что прогулка тянулась весь день, с утра до сумерек) напоминали мне о жизни, которая «играет у гробового входа», жизни, ставшей мне теперь такой чуждой, такой далекой, далекой!»

Читая эти последние строчки, вспоминая, что так чувствовал русский революционер в садике Алексеевского равелина,—проникаемся совершенно иным чувством к Петропавловской твердыне. Озлобление и ненависть проходят, и эта крепость, собственно говоря, почти никогда не исполнявшая обязанности крепости, становится как-то дорогой, как-то близкой, родной сердцу. Там страдали, томились те, трудами которых возникала наша свобода, там перебывали, с декабристов вплоть до последних дней, те, которые жили лишь свободой и верили лишь в свободу...

И невольно забываются все другие, темные стороны Петропавловской крепости, и ясно помнится лишь то, что и она принадлежит к тем дорогим, незабываемым местам Петербурга, с частью которых,—далеко не со всеми—в незаконченном очерке, без многих и многих любопытнейших подробностей, мы начали знакомить нашего читателя, и которые можно назвать—«колыбелью свободы».

В 1861 году на воротах Петропавловской крепости (планшет X, № 42)—сохранилось такое предание—было вывешено об'явление: „Петербургский университет". Этой вывескою подчеркивался факт ареста громадного количества студентов—арестованные были заключены в крепость. В крепости

дух протеста не умер, наоборот, узнав, что в крепости заключен известный писатель М. И. Михайлов, заключенные студенты отправили ему стихи, в которых, между прочим, были и следующие строчки:

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет
. . . .
Верь—плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя.

После 1861 года беспорядки в Петербургском университете стали явлением периодическим, мелкие волнения, стычки с начальством или профессорами, сходки происходили чуть ли не ежегодно, но эти мелкие проявления протеста временами принимали характер общественного явления, обращаясь в значительные манифестации, которые в конце концов выродились в политические, революционные акты. Особое значение имели беспорядки 1869, 1874, 1881, и, наконец, заключительные беспорядки 1899 года.

Правительство на все эти беспорядки отвечало одним и тем же способом: назначалась междуведомственная комиссия, которая должна была выработать новые правила, не допускающие повторения беспорядков. В 1879 году «пораженный теми безобразиями, которые генерал-ад'ютант граф Лорис-Меликов видел в Харьковском университете — цитируем официальный документ, докладную записку фон-Плеве, тогда директора департамента полиции, — создатель «диктатуры сердца» настаивал на особом секретном совещании министров «на совершенном устранении в университетах выборного начала при назначении ректоров, инспекторов и субинспекторов, на введении обязательной форменной одежды для студентов, на невыдаче в руки стипендиатов назначенных им денежных пособий и вообще на усилении правительственного надзора по всем учебным заведениям, на устранении крайнего недостатка дисциплины».

Начальство полагало, что к учащейся молодежи возможно применение лишь одного принципа: «тащить и не пущать».

Весьма понятно, что этот принцип ничего, кроме отрицательных результатов, не мог принести. Чем сильнее жало правительство, тем сильнее, организованнее становился протест и мало помалу терял свою академичность, терял свою бесформенность. К концу 1894 года подвергся пересмотру вопрос о значении и роли студенчества в освободительной борьбе. По старому взгляду, как он формулировался в студенческой среде, учащаяся молодежь была аванпостом не только общества, но и передовой его части, интеллигенции. И если интеллигенция являлась творческой силой, то этой силой обладало и студенчество. Поэтому студенчество считало себя обязанным как можно больше проявлять себя во всевозможных протестах. Однако, по странному противоречию с основными посылками, содержание протестов студенческими бунтарями — как говорит в своей работе «Миссия генерала Ванновского» Н. Иорданский—суживалось на практике до пределов университетских стен. Красивая и широкая концепция студенчества — носителя высоких идеалов интеллигенции—заканчивалась куцым положением: так как университетский режим является частичным проявлением общего режима, то студенты должны бороться против общего режима, борясь против университетского режима. В результате получалось поразительное крохоборство и убожество мысли. Как только начинались волнения, и собирались сходки, так немедленно поднимался крик по поводу изменения устава, причем толпа всегда требовала возвращения к „уставу 64 года", которого никогда не существовало, разумея под ним устав 1863 года, полный всевозможных недостатков. Пред'явив это требование, поругавшись с ректором и попечителем, сходки или мирно расходились, не зная что делать дальше, или насильственно разгонялись. Исход зависел от настроения и от такта начальства. Его действия могли внести некоторое разнообразие в студенческие споры, могли осмыслить движение. После первых же репрессий начинали, например, волноваться, требуя возвращения исключенных товарищей, и т. п. Движение принимало ясную цель. Предоставленные же самим себе, сходки были обречены расплыться в бесконечных и безпорядочных речах, тем более, что в те блаженные времена председателя не полагалось, и это значило заведомо обречь себя на исключение

и административную высылку. Сходки велись по способу, практикуемому на некоторых анархических собраниях: говорить начинали несколько человек, а затем трибуна оставалась за более энергичным.

Во всяком случае, во все время своего существования петербургский университет,—понимая под ним студенчество, а не только высшее учебное заведение,—шел впереди движения; таковым он был и в 1899 году,—в том году, который может по справедливости назваться первым мгновением зари революции... Черная ночь реакции, темные тучи ее стали удаляться с горизонта...

8 февраля 1899 года студенчество ошикало во время торжественного акта ректора Сергеевича, когда он пытался обратиться к студентам с речью. Ректор должен был покинуть зал, а возбужденные студенты с пением стали расходиться из университета. Но мерами полиции студенты искусственно были собраны в значительную толпу (Дворцовый мост был закрыт полицией для прохода, а переход по мосткам через Неву испорчен) и у Румянцевского сквера были аттакованы конным отрядом под командою поручика Галле. Конные полицейские, не стесняясь, пускали в ход нагайки. Пострадавших было много. На другой день в университет собралось около трех тысяч человек. На площадке не хватило места, пришлось выломать дверь в актовый зал, и сходка началась в образцовом порядке, под руководством председателя и с сильным под'емом настроения. В конце концов, впервые было решено применить массовую стачку и обструкцию, т. е. насильственное прекращение лекций в тех случаях, когда их не удастся прекратить мирным путем. Были выставлены три требования: обеспечение неприкосновенности личности, издание точных правил о полномочиях полиции при столкновении с толпою, судебная ответственность администрации за их нарушение и судебное расследование избиения 8 февраля. Правительство на этот раз дрогнуло и назначило генерала Ванновского разобраться в движении. Так поступало правительство, а охранное отделение начало высылать «неблагонадежных» и «заподозренных». К высылаемым являлся утром околоточный и пред'являл восьмушку писчей бумаги, на которой было отгектографировано: по распоряжению министра народного

просвещения, вы исключаетесь из университета и высылаетесь из г. Петербурга и Петербургской губернии впредь до особого распоряжения. Когда в Василеостровском участке собралась солидная компания высылаемых, то юристы подняли протест, указывая, что министр народного просвещения не обладает правом высылки, что они не подчинятся незаконному распоряжению. Довольно продолжительный спор был закончен очень просто: после нескольких тщетных попыток найти законное об'яснение высылки, охранка по телефону заявила, что студенты высылаются по распоряжению охранного отделения, и что если они не поедут сейчас же на вокзал добровольно, то их свезут силой.

1 марта 1899 года возобновились занятия в университете, а 16 марта, т.-е. через две недели, волнение снова охватило университет. «Февральские сходки», писал тот же Н. Иорданский, принимавший большое личное участие в этих сходках, «при всем под'еме настроения отличались большою жизнерадостностью, мешавшей углубляться в суть вещей. Как только выяснилось, что студенчество проникнуто желанием бороться, сходки пошли живо, даже весело. При этом речи носили очень осторожный характер. Ораторы боялись слова «политика», как жупела и металла. В марте сходки носили совсем иной характер. Они были менее многолюдны, но зато они были и гораздо серьезнее, вдумчивее, сознательнее. С одной стороны, они отбросили покровы умеренности, с другой—в сильной степени излечились от политического недомыслия. По требованию сходки, председательское место занял один из членов первого организационного комитета. Настроение сходки получило яркую и определенную формулировку в его вступительной речи. Оратор с полною ясностью указал, что, начиная вторую забастовку, студенты решаются на очень важный шаг: на политический протест,—протест против существующего порядка, который не желает поступиться даже мелочами; что, вступая на эту дорогу, нельзя расчитывать на поддержку многих элементов общества, сочувствовавших первой забастовке, и необходимо приготовиться к самым жестоким репрессиям; что поэтому при обсуждении вопроса надо руководиться не столько горячим чувством, сколько холодным разумом, чтобы потом не свали-

вать ответственности на отдельных лиц, будто бы увлекших своими пламенными речами на гибельный путь...

И началась революционная политическая борьба петербургского студенчества с безобразиями абсолютистского механизма...»

Мы видим ясно, что, отыскивая места революционного Петербурга, мы должны не только отметить в нашем путеводителе здание С.-Петербургского университета, но и надолго остановиться перед ним. Значение его в революционном движении и велико и плодотворно.

Сам по себе Васильевский остров дал сравнительно мало места для революционного Петербурга. 24 июля 1878 года в $8^1/_4$ часов вечера переодетый в партикулярное платье околоточный надзиратель 2 участка Васильевской части поместился для наблюдения за видным народовольцем Андреем Пресняковым возле дома № 19 по Среднему проспекту. Планшет XI, № 46). Заметив, затем, проходивших по улице четырех лиц, в том числе Преснякова, этот околоточный надзиратель, вместе со швейцаром соседнего дома, стал преследовать их, но Пресняков, видимо, догадавшись, что за ними следят, ускорил шаг и опередил своих товарищей. Наконец достигнув Преснякова, околоточный надзиратель хотел схватить его сзади за руки, но тогда Пресняков вытащил из кармана револьвер и, обернувшись, выстрелил в швейцара. Последний закричал: «дворники, держите!» околоточный же надзиратель схватил стрелявшего, прижал его к себе. В это время задержанный произвел второй выстрел, которым и ранил одного из прибежавших дворников. Затем кто-то из дворников отнял у Преснякова револьвер, который оказался бельгийской работы, центрального боя, калибра 450, шестиствольный, самовзводной и двойного действия; а самого Преснякова доставили в участок.

Квартира Преснякова оказалась тут же на Васильевском острове, в доме Воронина. В ней был произведен тщательный обыск, найдены три экземпляра № 1 «Народной Воли», программа «Северного союза русских рабочих», лист за № 100 добровольного сбора в пользу редакции «Народной Воли», рукописная программа социалистического союза рабочих города и разные письма и документы, свидетельствующие о принадлежности Преснякова, который жил в Петербурге

по паспорту на имя Дмитриу, к социально-революционной партии.

Затем, на Васильевском острове мы можем отметить, что в 7-ой линии в доме № 17 (планшет XI № 47) в августе 1878 года, под фамилией Тугаринова, жил Адриан Михайлов; что в 60-х годах на 8-ой линии в доме № 25 помещались типография и книжный склад Тиблена и К⁰ (планшет XI, № 48), что на той же 8-ой линии, угол Большого проспекта, д. № 19/26, была редакция журнала «Народная Беседа» (Планшет XI, № 79), и что на 10 линии д. № 17 помещалась студенческая столовая, (планшет XI, № 49).

Книгоиздательство Тиблена было одним из первых либеральных книгоиздательств Петербурга—оно издавало по преимуществу переводы и состояло в связи с упомянутым нами кружком чайковцев; «Народная Беседа»—один из первых народных журналов, издателем его был некто Кардо-Сысоев, один из «кающихся» дворян—шестидесятников. О значении студенческой столовой на 10-й линии не приходится говорить—долгое время, в эпоху самой мрачной реакции, столовая была тем местом, где все-таки теплилась студенческая жизнь, где студент мог себя чувствовать членом большой студенческой семьи. Здесь зарождались общественные движения, здесь же, главным образом, полиция громила студенческие организации—обыкновенно здесь происходили и небольшие сходки и заседания различных организационных и других комитетов.

С Васильевского острова переходим на былой Адмиралтейский остров, 1-ый городской район, как он именуется, к воротам Летнего сада, где возвышается бесвкусное творение из мрамора, долженствовавшее ознаменовать собою одно из «чудесных» спасений императора Александра II.

4 апреля 1866 года государь по обычаю гулял один со своим Милордом, черным сеттером, в Летнем саду и после прогулки выходил в ворота на набережной (планшет XII, № 91), чтобы сесть в коляску. Стоять около коляски при выходе государя дозволялось всякому: были тут обычный жандарм, обычный полицейский городовой и обычный сторож сада. Все они при приближении государя становились во фронт, стояли к нему лицом, и спиною, увы, к той кучке—так писал хроникер того времени—где был злоумышленник

Каракозов. Едва государь сел в коляску, как над его головой раздался выстрел; пуля пролетела мимо, благодаря тому, что стоявший рядом с Каракозовым Комиссаров в миг, когда первый целил в государя, подтолкнул его руку под локтем. Преступник был схвачен немедленно.

Один из современников, знаменитый впоследствии издатель «Гражданина», один из столпов российского мракобесия, князь Мещерский, так патетически описывает сцену прибытия Александра II во дворец: «Государь сказал Императрице: je viens d'échapper à un possible accident (Я только что избежал возможного несчастия) Императрица, вся бледная, как смерть, прервав его, сказала: Un attentat! (покушение) и потом, поднявши глаза к небу проговорила как бы от всей души: pourvu que cela ne soit pas un Russe! (лишь бы только это не был русский»).

Вся фальшь этого описания резко бросается в глаза, но автор его не заметил и следующей несообразности: он заставил русского царя и царицу, подчеркиваем,—русского,— в такой тяжелый для них момент говорить не по-русски, а по-французски, причем императрица по-французки же высказывает патриотическое желание, чтобы преступник был не русским.

Долгое время не могли обнаружить фамилию преступника, если бы не случай, как мы об этом и рассказывали выше, при указании, что Каракозов остановился в Знаменской гостиннице.

Тот же самый князь Мещерский рассказывает не безынтересные подробности и о Комиссарове: «Жена его давно поджидала к обеду и накинулась на него с бранью за то, что пропадал. Плац-ад'ютант, доведший Комиссарова домой, передает жене о случившемся, та слушает, как во сне, и ничему не верит, но когда ушел плац-ад'ютант, она говорит мужу: ты лучше ложись спать, а то спьяну бредить стал».

Что сделало, что говорило, что думало русское общество, когда раздался выстрел Каракозова?—такой вопрос ставит в своих воспоминаниях Брешко-Брешковская и дает ответ, который мы и считаем нужным привести целиком, так как этот ответ хорошо подметил характерные черты того времени.

«Общество справляло свои именины (и с тех пор оно их, кажется, не видало). Во первых, оно все еще радовалось тому,

что освобождение крестьян прошло для него не только благополучно, но и набило его карманы выкупными свидетельствами; во вторых, оно улыбалось себе, любуясь своей гумманностью и своей прогрессивностью, в третьих, оно искренно благодарило Бога за то, что Александр II не сдает в солдаты всех лучших писателей и поэтов русских, а только некоторых, самых лучших, ссылает на каторгу и то по суду. Все просветительные реформы того времени большое общество приписывало, главным образом, инициативе Александра II, все же репрессии, уже тогда поражавшие более чувствительных своею грубостью—ставились в вину или „недобрым министрам“, или „бестактности“ радикалов, всегда желавших больше свободы слова, печати и деятельности, чем сколько отпускалось из царской лакейской. Одним словом, в то время имя Александра II еще розовыми буквами было написано в сердцах его подданных.

И вдруг выстрел!.. Какой афронт! Именинный праздник был нарушен. Пошли тревожные собрания, адреса, молебны. Одни, задыхаясь, кричали: «Вот! вот! мы говорили. Вот она воля! вот они реформы!»—Другие били себя в грудь и громко говорили: «поймите же, что это вздор, нелепость! Мальчишка... неуч... Разве можно обобщать? Здравый смысл народа против. Все негодуют... Нет, здесь реформы непричем! А образумить, наказать—конечно, надо!»

Кричали, спорили, все обсудили, решили, как быть вперед, и только одного не досмотрели, что этот выстрел отнял у отцов детей их; что личность Каракозова и его подвиг раскололи раз навсегда интеллигентную часть России; люди, которые стремились воспользоваться благими прогресса для себя лично, составили ту аморфную массу, которую принято у нас называть „либералами“, а те, которые не могли спокойно жить, видя вокруг себя море обид, горя и неправды, ушли в школу Рахлипову и вынесли оттуда достаточно мужества, любви и ненависти, чтобы отдать всю жизнь свою на восстановление попранных прав человека. Эти последние и были тою средою, которая тут же стала формироваться в социально-революционные кадры.

Не вдруг, конечно, откололась молодежь от общего течения; она, быть может, не сразу уяснила себе вполне, откуда взялось ее охлаждение к либерализму, равнодушие к «ве-

ликим реформам», но она почувствовала ясно, что для нее нет возврата к именинам при наличных условиях, а что вот-вот, она должна взять посох в руки и отправиться искать новых, еще неизвестных ей путей.

Конечно, были и тогда отдельные лица, для которых выстрел Каракозова был не только желанным, но и жданным ударом, но таких было мало, а в целом молодежь еще с легким сердцем смотрела на возможность работать на легальной почве. Правда, она уже и тогда видела, как люди платились тюрьмою и ссылкою за свое усердие к просвещению других, как исправники закрывали частные школы, попы доносили, предводители изгоняли бескорыстных учителей, студентам запрещали поступать в волостные писаря, и т. д. Все это и много другого скверного молодежь видела, вычитывала из газет,—но кому легко расстаться с надеждою послужить общему делу открыто, свободно, широко!—это во первых; а в вторых, как могла молодежь—искренняя, горячая, но не ведающая жизни своей страны, мало знакомая с историей, идеализирующая человека,—заподозреть, усомниться в чистоте намерений царя, уничтожившего крепостное право!

Выстрел Каракозова был ударом, удивившим, поразившим одних и смутившим, вогнавшим в раздумье других. Каракозов—молодой и отважный, прекрасный товарищ прекрасных людей, сумевший умереть, как закаленный герой. Пусть его ругают, поносят; пусть родные его стыдятся фамилии своей и просят царя дозволить им сменить «Каракозова» на «Александрова»; пусть вся Россия распинается в преданности царю, шлет ему адреса, иконы, строит часовни... пусть, пусть! А он все-таки *наш*, *наша* плоть, *наша* кровь, *наш* брат, *наш* друг, *наш* (курсив везде подлинника) товарищ. Мы его любим, мы его жалеем, мы ему поклоняемся.—Она не смела сказать все это громко, не только потому, что боялась, но и потому, что все эти чувства и мысли были слишком новы ей самой, она еще не успела в них разобраться.

А они, отцы наши! кого они любят, кого чествуют?—Комиссарова! Почему никто из них не стоял *там*, никто не стерег своего отца благодетеля, почему среди них не на-

шлось никого, чтобы действительно, а не невзначай отвести руку стрелявшему?.. Случайно ее толкнул стесненный толпой молодой шапочник из Костромы, вместе с другими прохожими глазевший на выходившего из Летнего сада Александра II. Кто-то из толпы случайно толкнул его локоть, так же случайно рука его толкнула руку Каракозова, державшего револьвер, и выстрел назначенный царю, раздался вверх. Слепой толчок ничего не подозревавшего человека вызвал восторг всего верноподданного мира. Сконфуженное общество обрадовалось возможности перенести разговор от щекотливо-грустной темы к умилительно-веселенькому происшествию. Заказали сотни тысяч Комиссаровых на бумаге, и все, состоящие на государевой службе, и все темные и робкие—увесили ими стены своих самых видных углов.

Надо было доказать, что «народ предан»... «народ любит царя»—вот ясное доказательство...—Простой, совсем простой, неграмотный... и вдруг спас!... Да, спас... он... всю Россию!... Ползающие перед монархом и хихикающие себе в бороды, все требовали чествования Комиссарова, все жаждали видеть его своими глазами. Царь ему дал чин, мундир, денег; приставили к нему офицера и возили по институтам, корпусам и салонам... Его встречали, дарили, кланялись ему.—Царица выписала его жену из деревни и своими руками вдела ей бриллиантовые серьги; нарядила ее в кринолин и бархат и пустила гулять по столице. Анекдоты самые дурацкие, самые пошлые ходили по всей России. Бедные супруги Комиссаровы стали посмешищем всего Петербурга, и «спаситель» не выдержал и запил «горькую».—Тогда двор и общество озаботились дальнейшим устройством судьбы своего героя. Об этом трактовали в газетах и порешили так: царь даст ему дворянское достоинство, а дворяне вносят вскладчину 50 тыс. руб. на покупку имения новому собрату своему, Комиссарову—Костромскому. Героя отправили в новое его поместье и оставили одного... Сбитый с толку, очумевший от всех царских милостей и тех комедийных положений, в которые его ставили с утра до вечера—Комиссаров, оставшись один, стал пить, не переставая, и, как было об'явлено в газетах, повесился в белой горячке, повесился в своем дворянском поместье.

Как кошмар, как смрадный осадок, ложилась это гнусная трагикомедия на душу честной молодежи. Две виселицы—Каракозова и Комиссаровая—явились символами двух направлений, разделивших с тех пор Россию на два определенных лагеря. Один лагерь, с «Московскими Ведомостями» во главе, пошел направо, кормиться от крох, падающих с престола царей; другой, храня в душе заветы Чернышевского и не спуская глаз с лучезарного облика Каракозова—все круче и круче поворачивал влево, пока не научился служить своей родине так же умело и упорно, как каракозовцы и так же самоотверженно-геройски, как сам Каракозов».

Нам кажется, что Брешковской удалось отметить все оттенки настроений того времени. Выстрелом Каракозова начались покушения на Александра II, закончившиеся его смертью на Екатерининском канале—в средине был взрыв 5 февраля 1879 года взрыв в Зимнем дворце (планшет XII, № 92), правда, не достигший цели, но произведший грандиозное впечатление. К описанию этого взрыва мы и переходим.

«Опять и опять С.-Петербург украсился флагами, и снова зажглась по городу иллюминация—так начинала свое извещение о взрыве известная в то время по либерализму газета «С.-Петербургские Ведомости»: «снова благодарственные молебствия огласили своды храмов и жилищ. Еще раз государь избежал опасности. Еще 5 февраля вечером по городу разнеслась весть, что в Зимнем дворце произошел взрыв в 6 часов 20 минут вечера. Взрыв был так силен и сопровождался таким шумом, что все, бывшие в местности, окружающей Зимний дворец, пришли в совершенное смущение от необыкновенного шума и колебания земли. Все бросились ко дворцу—народ, полиция, патрули; и никто долго не мог об'яснить происшедшего. Взрыв произошел внутри дворца... С понятным нетерпением жители столицы ждали правительственного сообщения. И, действительно, «Правительственный Вестник» вышел с кратким сообщением, что взрыв произошел под помещением главного караула (этажом выше помещается столовая государя), что караул от Финляндского полка опасно пострадал: 8 нижних чинов убито, 45 ранено. Затем, сегодня (6 февраля) утром причина взрыва еще не была выяснена. При естественном

ужасе и смущении трудно даже затрагивать вопрос о причинах взрыва, страшно делать какие либо предположения, и с понятным нетерпением остается только ждать выяснения этого дела официальным путем. Весь сегодняшний день громадные толпы народа спешили на Дворцовую площадь к Зимнему Дворцу, где радостными возгласами старались высказать волновавшие их чувства, что государь еще раз минул опасности. Промысел Божий, очевидно, не покидает нас!»

Как видим, публицист того времени был настолько связан условиями цензуры, что не мог даже высказать своего предположения—он должен был ждать официального извещения. Но министерство двора, видимо, не хотело знакомить публику с подробностями, официальные извещения были и лаконичны и туманны. Но генерал Гурко издал приказ по войскам гвардии и тем нарушил всю скромность министерства двора. Приказ был следующего содержания: «5 февраля в седьмом часу пополудни под помещением главного караула Зимнего Дворца от воспламенения значительного заряда динамита произошел взрыв. Избрав время обычного Высочайшего обеденного стола и направив удар на разрушение столовой его величества, дерзкий злоумышленник, очевидно, обнаружил тем адский замысел на священную особу государя. Бог спас драгоценнейшую жизнь своего помазанника, вновь проявляя неизречимую и великую ко всем нам милость, за которую поспешим возблагодарить Господа в горячей единодушной молитве».

Приказ по войскам гвардии—открыто и ясно установивший причину взрыва—позволил прессе того времени нарушить молчание, накладываемое министерством двора,—и мы читаем следующие строчки:

«Нет более сомнений, что взрыв в Зимнем Дворце не был делом случая, не был взрывом газа из лопнувшей трубы, но был одним из величайших злодейских покушений, когда либо осуществлявшихся. Если бы не всеблагое Провидение, то могли бы погибнуть почти все члены императорской фамилии, долженствовавшие присутствовать на семейном императорском обеде по случаю приезда брата государыни императрицы, принца Александра Гессенского, и его сына, князя Александра Болгарского. Особая случайность, что

обед был отложен на полчаса, и крепость капитальных стен Зимнего Дворца, построенного знаменитым Растрелли—разрушили план преступников. Приказ, обнародованный генерал-ад'ютантом Гурко, раз'яснил весь ужас нашего положения, и мы только недоумеваем, почему первые известия говорили так мягко о преступлении и старались об'яснить его взрывом газа, когда, очевидно, действовал не газ а динамит. Первое впечатление есть самое сильное. Преступление так ужасно, так отвратительно, что умалять его значение и производимое им на душу впечатление едва ли было нужно. Ведь дело идет о драгоценном предмете для всякого русского».

Высказав таким образом упрек министерству двора, газета продолжала свои ламентации:

«Негодование всех жителей С.-Петербурга и, конечно всей России разумеется само собою. Если уже и жилище царское ничем не застраховано от потаенной работы извергов, поднимающих свою злодейскую руку на все священное русской земли, то можно ли быть спокойным?

Дворец охраняется целою ротою гвардии, кругом ходят часовые, и, несмотря на это, гнусная работа преспокойно идет себе своим порядком и в свое время разрешается страшным взрывом, да еще как бы в насмешку—над самым гвардейским караулом... Надобно заметить, что как раз над самым караулом находилась обеденная зала, и взрыв, как видно, был расчитан на то, чтоб застать за обедом всю царскую фамилию. На великое счастье и радость всей России, Промысел Божий и в этот раз оказал свое явное покровительство царской семье: по случаю приезда принца Александра Гессенского с сыном, обед был отложен на полчаса, и только что царская семья, за исключением больной государыни, вступила в столовую, как раздался взрыв. Тщетно искали проволочных проводников или следов подкопа, минной галлереи т. п. Пришлось остановиться на предположении, что взрыв произошел от скопления газа из лопнувшей трубы, либо от динамита, принесенного в подвал. Характер разрушения, сила и своеобразный запах указывали на большее вероятие последнего предположения. В подвале, как раз под кордегардиею дворцового караула, находится ватерклозет этого караула, а рядом комната, где жили три столяра и

один солдат дворцовой служительской команды, надзирающий над подвалами. Комната эта отделялось от ватерклозета капитальной стеной, на которую опирались своды. В виду того, что пол в подвале остался неповрежденным, а самая стена, о которой идет речь, разнесена в прах, можно предположить, что заряд динамита был заложен в стене или был приставлен к ней на каком-нибудь возвышении вроде стола, сундука и т. п. Взрыв разрушил потолок подвала, служивший полом караульной комнаты. Плиты, которыми устлан этот пол, полетели кверху и пробили потолок караульной комнаты. В царской столовой взрыв произвел такое сильное сотрясение, что разбросал столы и посуду, ранил 2-х служителей; масса выбитых стекол во дворце и соседних домах по набережной указывает на страшную силу».

Таковы были первоначальные сведения. Ими, конечно, не удовлетворились, и «Московские Ведомости» первые расцветили вышеприведенный рассказ сообщением, что «сервированный стол был не тронут, и стоявший на нем канделябр колеблющимися огнями освещал комнату»; в то же время, по сведениям этой газеты—«вдоль всей стены дворца у гауптвахты образовалась трещина»..

Что же касается виновника происшествия, то полиция post factum могла сообщить, что из трех столяров, живших в комнате под караулом, один, живший по паспорту Степана Батышкова, пропал бесследно, а когда стали проверять паспорт, то оказалось, что деревни «Сутоки», из которой был выдан этот паспорт, не существует, и паспорт подложный.

Негодование газет—мы уже приводили выше примеры этого негодования—было бы гораздо значительнее, если бы газеты знали, что за несколько месяцев при аресте Квятковского был найден, как мы и указывали выше, план Зимнего дворца с отметкою крестом государевой столовой.

Находка этого плана, положим, некоторое действие произвела и заставила встрепенуться дворцовую полицию. Начались строгости. Но хуже всего подействовал крест на столовой. Что он означает? Полиция государственная и дворцовая ломали себе головы: хотя в точности не могли разобрать дела, но не могли не почуять вообще какой-то опасности.

А опасность заключалась вот в чем: на сцену явился «Степан Халтурин, столяр, рабочий, известный пропагандист-агитатор, основатель знаменитого «Северного Рабочего Союза», первой яркой попытки чисто рабочей организации, доказывавший, что рабочие могут организовываться сами, без помощи интеллигенции. Так, при устройстве библиотеки «Союз» он не принимал помощи вне круга рабочих. Вырабатывая программу «Союза», он придерживался той же тактики и настаивал на ее напечатании без всяких поправок, без малейшего изменения ее несколько широковещательного стиля, уснащенного иностранными словами. Его страстным желанием было основать подпольную рабочую газету. В 1879 году он почти осуществил свой проект: на средства «Союза» он основал в Москве тайную типографию и с другом Обнорским и другими рабочими составил чисто-рабочую редакцию. Первый номер их «Рабочей газеты» был уже набран, когда типография со всем ее персоналом была арестована. Халтурин, однако, не отказался от своего излюбленного плана, так что даже готовясь к покушению в Зимнем дворце, он собирался, после его совершения, если останется жив, поставить на ноги типографию и издавать газету.—Самый факт покушения должен был, по его намерению, служить к прославлению русского рабочего. И после взрыва, когда еще никому не было известно его имя, он напечатал в «Народной Воле», что покушение было совершено рабочим.

И вот такой то человек и предложил свои услуги Исполнительному Комитету и сообщил свой план. Дело в том, что, задумав цареубийство, Халтурин стал прежде всего искать средств поближе подойти к царю. Как рабочий чрезвычайно искусный по своей специальности (столяр-лакировщик) и как человек с огромным знакомством в петербургском рабочем мире, Халтурин мог, действительно, проникнуть куда угодно: и в мастерские, и во дворцы, и в монастыри, и в казармы. Поискав и разнюхавши разные ходы, он попал на какую-то царскую яхту, где нужно было что-то отделывать и лакировать, а Халтурин славился особенно, как знаменитый лакировщик и составитель лаков. Зарекомендовав себя на яхте искусным, он смог получить место в Зимнем дворце. Поступивши во дворец с фальшивым пас-

портом, Халтурин старался разыгрывать роль простака. Он всему удивлялся, обо всем расспрашивал. Его учили придворным порядкам,—как говорить, как отвечать, как себя держать. Над его неуклюжими манерами, над его притворной привычкой чесать за ухом потешалось все «полированное лакейство».

«Нет, брат, нет! Полировать, действительно, ты—мастер, так что блоха не вскочит (это—высшая похвала полировщику. Значит, если на отполированную им вещь пустить блоху, то она не может вскочить: настолько гладка поверхность, что даже блошиная нога скользит), а обращения настоящего не понимаешь». Неотесанному мужику всякий старался пустить пыль в глаза, и из множества рассказов Халтурин скоро ознакомился с жизнью дворца. Познакомившись с расположением комнат, Халтурин убедился, что подвал, где живут столяры, находится как раз под царской столовой.

В это время—когда Халтурин уже наладил было дело—произошла вышеуказанная история с планом. Все покои, прилегающие к столовой сверху, снизу и с боков, подвергли осмотру и надзору. Дворцовая полиция была усилена. В подвале, где жили столяры, поселился жандарм. Полковник, заведывающий дворцовой полицией, ввел систему внезапных обысков, дневных и ночных. Халтурин, который уже успел перенести к себе некоторое количество динамита, был страшно встревожен первым обыском. Ночью, когда все спали, двери подвального помещения вдруг отворяются. Полковник, в сопровождении жандармов, быстро входит. Звук шпор, бряцание сабель, наконец, приказание полковника встать разбудили столяров. Халтурин считал себя погибшим. Не зная еще о систематических обысках, только что введенных, он, конечно, мог отнести ночное посещение только на свой счет. А у него лежал под подушкой динамит. Однако, дело обошлось благополучно. Порывшись слегка в вещах рабочих, заглянувши в разные углы, охранители царского жилища с таким же грохотом, звоном и сверканием удалились для обыска других помещений, а Халтурин только тут поверил, что он еще не провалился. С тех пор обыски в разное время стали повторяться все чаще. Но так как они большею частью были поверхностны, то Халтурин их еще не очень боялся. Гораздо хуже было то,

что обыску стали подвергать всех рабочих, возвращавшихся во дворец из каких-либо отлучек. Как при таких условиях переносить на себе динамит? Вообще свободный вход и выход всякой прислуги чрезвычайно стеснили. Все, живущие во дворце, обязаны были постоянно иметь при себе свой значок (медная бляха), отлучки контролировались, возвращающиеся обыскивались. Посещения посторонних стали невозможны.

При таких то условиях нужно было переносить во дворец динамит. Желябов лихорадочно торопил Халтурина, но дело все-таки подвигалось черепашьим шагом. Не было никакой возможности проносить динамит иначе, как небольшими кусками, каждый раз изобретая различные хитрости, чтобы избежать осмотра или обмануть бдительность осматривающих. С другой стороны, нельзя было и отлучаться из дворца слишком часто. Сперва Халтурин держал свой динамит просто под подушкою, испытывая от этого страшные головные боли. Потом, когда динамита набралось много, Халтурин переместил его в свой сундук, заложивши разными вещами. Таким образом, роль мины играл простой сундук, который Халтурин, по совету техников, придвинул возможно ближе к углу, между двумя капитальными стенами, чтобы иметь наиболее шансов обрушить столовую. Для воспламенения же динамита решено было прибегнуть к трубкам, начиненным особым составом... Дело шло к развязке. Около трех пудов динамита было перенесено в сундук. По расчетам техников, этого казалось достаточным для того, чтобы взорвать столовую, не производя в других частях дворца бесполезного опустошения. Вообще со стороны Желябова, следившего за ходом дела, постоянно сказывалось желание по возможности уменьшить число жертв. Халтурин, напротив, не хотел этого принимать в соображение. Он доказывал, что число жертв все равно будет огромное. Страшный риск при переноске динамита и постоянно усиливающаяся строгость надзора во дворце заставляли, однако, действительно поторопиться. Решено было действовать при данном количестве динамита, как только представится случай.

Благоприятный случай этот требовал совпадения двух обстоятельств: нужно, чтобы царь находился в столовой, а Халтурин в подвале, без всякого надзора. В столовой царь

обедал ежедневно, хотя с некоторыми колебаниями во времени, так на полчаса раньше или позже. Что касается столяров и жандарма, то их отсутствие зависело отчасти от распределения дежурств в работе, отчасти же от простой случайности; совпадение всех этих условий происходило, однако, не так часто, и Халтурин несколько дней испытывал постоянные неудачи. Он в это время каждый день, после времени предполагаемого взрыва должен был видеться с Желябовым, чтобы сообщать об исходе, так как в случае удачи ему следовало скрыться при помощи Желябова. Они встречались на площади в темноте, не всегда здороваясь. Халтурин, мрачный и злой, проходил быстро мимо, произнося нервным шепотом; «нельзя было... ничего не вышло...»

Эти ответы Желябов слышал несколько дней подряд. Наконец 5 февраля Халтурин, замечательно спокойный, поздоровался с ним и произнес «готово...» Через несколько секунд страшный взрыв подтвердил его слова... Огни во дворце потухли. Темная Дворцовая площадь стала как будто еще темнее. Но что скрывалось за этой темнотою, там—на другом конце площади?

Ни Желябов, ни Халтурин, несмотря на жгучее любопытство, не могли ждать раз'яснений: нужно было скрываться—и, быстро перейдя площадь, они завернули в боковую улицу, где и замешались в толпе пешеходов.

Дворцовая площадь (планшет XII, № 94) привлекала к себе внимание революционного Петербурга еще и в 1879 году. На этой площади гремели выстрелы Александра Соловьева, а самодержец России, Император Александр II, согнувшись, скрючившись, бежал зигзагами от арки Главного Штаба по направлению ко дворцу, за ним гнался, все время стреляя, но неудачно, Александр Соловьев.

Бывший народный учитель, примкнувший к пропагандистам, испытавший всю тяготу их дела, А. Соловьев мало-помалу пришел к мысли, что мирная пропаганда в России немыслима, и что главным виновником тех бедствий, которые испытывает Россия, является царь, так как он руководит политикой, он дает тон реакции. После всего этого следовал единственный вывод — необходимо уничтожить виновника бедствий, необходимо покуситься на его жизнь. Этот взгляд далеко не разделялся остальными народовольцами. В этом

отношении имеют большое значение слова Александра Квятковского, которые мы и считаем нужным сейчас же привести:

«Мысль о необходимости подобного покушения разделялась в то время очень и очень немногими, и он,—Квятковский—положительно утверждает, что народническая организация не являлась в этом событии санкционирующей силой, что как бы ни относилась она к оному—одобряла или не одобряла—это не имело никакого значения к совершению покушения Александром Соловьевым. Соловьев приехал в Петербург с твердым намерением совершить это покушение, мысль о коем у него возникла совершенно самостоятельно, независимо ни от какого влияния, и ничто не могло бы остановить его. Квятковский не отрицает, что часть народнической организации знала о намерениии Соловьева, не отрицает сего и относительно самого себя, но отрицает, будто бы только на сходке, на которой он, Квятковский, присутствовал, было решено, как показывает Гольденберг, произвести покушение 2 апреля. Эта сходка не имела никакого значения на то, будет или нет совершено покушение. Соловьев все-таки совершил бы оное, даже не позволил бы чтобы кто другой заменил его; это была его «idée fixe». В пособниках он тоже не нуждался по самым условиям дела, и даже лица, знавшие о готовившемся событии, не знали о самом дне его, ибо все зависело от того, когда Соловьев встретит государя. Он тоже не мог нуждаться и в денежной помощи, потому что все расходы ограничивались покупкою чиновничьей фуражки».

Прошло 26 лет, и на Дворцовой площади снова загремели выстрелы—выстрелы 9 января 1905 года...

«Забастовка в Петербурге в 1905 году началась на Путиловском заводе, где за несколько дней до 9 января был уволен ряд рабочих. Депутация от «Собрания фабрично-заводских рабочих» к директору завода—с требованием приема рабочих обратно—успеха не имела, и 3 января завод встал. 4-го к забастовке путиловцев примкнул сначала Семянниковский, а за ним и другие заводы за Невской заставой; 5 и 6 января к забастовке примкнули почти все заводы и мастерские, и забастовка в С.-Петербурге стала всеобщей. Бастовало около 200 тысяч человек. Это не была стачка из сочув-

ствия к путиловцам,—это был взрыв революционной энергии пролетариата, которая искала только повода, чтобы проявиться. Поэтому среди рабочих требований только у путиловцев, да и то только в первые дни забастовки, имеется пункт о принятии обратно уволенных товарищей; на прочих заводах формулируются широкие рабочие требования: сначала общеэкономические, а вскоре затем и политические. В петиции к царю, в которой стремления рабочих получили свою окончательно формулировку, наряду с требованиями, касающимися условий труда, имеются чисто политические требования, вплоть до Учредительного Собрания, на основе всеобщего избирательного права. За три дня всеобщей забастовки политическое развитие рабочих масс сделало гигантский скачок вперед: нетронутая серая масса стала за эти дни сознательной революционной силой. Идея шествия ко дворцу и подача петиции царю появилась как-то внезапно и мгновенно овладела массами. Эта форма наиболее соответствовала тому состоянию наивной веры, в каком широкие народные массы находились до 9 января. Как только появилась петиция, она была покрыта десятками тысяч подписей. 7 и 8 января в массы проникают тревожные слухи, и начинают раздаваться призывы к оружию, но народ отвергает их в своем экстазе. Полный небывалого революционного под'ема, народ проникнут глубокою верою в правоту своего дела и в торжество правды: его не посмеют тронуть, не посмеют не допустить к царю; безоружный и смиренный пойдет он в этот день, все преграды, отделяющие его от царя, падут сами собою».

«Во втором часу дня по тротуарам Невского проспекта, как это обыкновенно бывает в ясные праздничные дни, двигалась огромная толпа народа. Но среди обычной городской публики сейчас же бросалась в глаза масса рабочих. Они торопливо шли, кучками и вереницами, в одном направлении,—к площади Зимнего дворца. На улице раз'езжали отряды казаков. Чем ближе к Адмиралтейству, тем гуще были толпы, и тем больше было казаков. В конце Невского проспекта движение конок было прекращено. Улица была перерезана отрядом конницы. По Адмиралтейскому проспекту быстро раз'езжали, тесня народ к панелям, такие же отряды и группы жандармов. На Дворцовой площади была масса войск-

конницы и пехоты. Дворец был окружен пушками. Толпы народа теснились здесь к решетке Александровского сада с одной стороны, к зданию Генерального Штаба, вплоть до арки, с другой. Народ все прибывал, размещаясь по обоим сторонам Адмиралтейского проспекта и по углам Невского. Многие вошли в сад и изнутри теснились к его решетке. На ветвях деревьев сидели взобравшиеся туда уличные мальчишки. В саду, пользуясь редким солнечным днем, играли дети, каталась на коньках беспечная молодежь. Городской люд шел по своим надобностям во всех направлениях и задерживался в саду или на площади необычайным зрелищем. Учащаяся молодежь, интеллигенция, кое-кто из случайной публики смешивались с рабочими.

Настроение было сдержанно-возбужденное. Народ терпеливо ждал появления царя. Между рабочими шли тихие разговоры. Тут были лучшие, самые мужественные из них, добравшиеся сюда через все преграды. Иногда эскадрон конницы проносился с шашками наголо по Адмиралтейскому проспекту или начинал напирать на публику, теснившуюся у стен и решеток сада. Тогда в толпе раздавался громкий негодующий ропот, крики, похожие издали на перекатывающееся «ура». Около 2 часов жандармерия прошлась по Александровскому саду и, небрежно приказав некоторым группам расходиться, заперла все входы и выходы сада, оставив там публику. Толпа начинала между тем волноваться: с окраин приходили известия о расстрелах. Но рабочие упорно ждали царя. Кто-то сказал, что царя нет в Петербурге, большинство не поверило. Изредка в толпе раздавались крики: «уберите войска» ведь мы ничего дурного не делаем». В одном месте толстый офицер с красным лицом, подошел к толпе и сказал: «Расходитесь, будут стрелять».—Слышавшие это не поверили ему и продолжали говорить между собой: «за что же стрелять?»

К рабочим, стоявшим у штаба—это была группа колпинцев—тоже подошел офицер с предупреждением, что будут стрелять. Ему ответили: «Стреляйте! мы пришли искать правду!» Вскоре из группы пеших войск, занимавших средину площади, выделилась рота Преображенского полка с офицером и выстроилась в две шеренги против Александровского сада. Публика смотрела с недоумением. Заиграл гор-

нист. Наступила тишина. Все переглядывались. Раздались ободряющие голоса: «Это так... Не может быть»... Горнист проиграл еще раз, и послышалась команда: «целься». Первый ряд преображенцев опустился на колени и взял на прицел. Никто не тронулся с места, но лица побледнели, многие стали креститься. Раздался залп—в народ, стоявший у сада, и прямо в сад, в любопытствующих и играющих детей. Толпа замерла. Некоторые подумали, что залп холостой. Но кругом на площади и за решеткой валялись убитые и раненые. С деревьев, как подстреленные воробьи, посыпались мальчуганы. Кто-то громко застонал. Часть толпы вдруг скрючилась, согнулась и побежала в сторону. Солдаты сделали полуоборот вправо и дали залп по направлению к Адмиралтейству и Дворцовому мосту. Потом полуоборот влево—и залп по направлению к штабу, в убегающую толпу».

Дворцовая площадь была очищена—а вместе с тем была очищена и пришедшая толпа от наивной веры в царя. Перелом в настроении рабочих масс совершился. Произошел первый акт российской революции.

С Дворцовой площади, через Александровский сад, попадаем к памятнику Петра I, на былую Сенатскую площадь (планшет XII, № 95), на которой была другая кровавая развязка—развязка 14 декабря 1825 года.

Александровский сад появился с 1872 года, после празднования двухсотлетия рождения Петра Великого. До этого времени Дворцовая площадь соединялась непосредственно с Адмиралтейскою, а последняя переходила в Сенатскую.

Адмиралтейство в то время доходило до Невы, нынешней Адмиралтейской набережной не существовало, и, следовательно, не было сквозного проезда по Неве. Проехав по Дворцовой набережной, нужно было, обогнув Зимний Дворец мимо Адмиралтейского бульвара, тянувшегося параллельно главному фасу Адмиралтейства, выехать на Сенатскую площадь, и через нее можно было попасть или на Английскую набережную или на Исаакиевский мост. Около Адмиралтейства от Невы треугольником было огорожено место для складки камня—гранита и мрамора, привозимого для постройки Исаакиевского собора Этот склад почти подходил к памятнику Петра I. Ны-

нешних зданий сената и синода, а также арки через Галерную улицу не было, на месте нынешнего сената возвышался каменный старый дом с башнею, бывший некогда домом канцлера Бестужева, купленный сперва для сенатской канцелярии, при Екатерине II, а на месте синодского здания возвышался четырехэтажный дом купца Кусовникова; вместо нынешнего Конногвардейского бульвара протекал Адмиралтейский канал; он шел из Адмиралтейства, от главного Адмиралтейского канала до Крюкова канала, но часть его по Сенатской площади уже была спрятана в каменную подземную трубу; конногвардейский манеж — творение Гварепи и дом князя Лобанова-Ростовского — постройка Монферона, дом со львами, затем принадлежавший военному министерству, уже существовали. Вся Исаакиевская площадь, часть Адмиралтейской была отгорожена забором, как для склада материалов, так и для различных служебных построек при воздвигавшемся в третий раз Исаакиевском соборе. Таким образом, Сенатская площадь, на которой разыгрался эпилог декабрьского восстания, была очень стеснена в своих размерах. Расположение войск у нас показано затушеванными прямоугольниками. На стороне восставших была значительная часть Московского полка, расположившаяся задом к сенатскому зданию и занимавшая, так сказать, центр; на левом фланге, ближе к памятнику Петра I, стояли лейб-гренадеры, а правый фланг, к нынешнему зданию синода, составлял гвардейский экипаж. Войска, верные Николаю I, были расположены в две линии; первая от забора, вышеупомянутого склада камня до места постройки Исаакиевского собора и конногвардейского манежа, состояла из оставшейся верной части Московского полка, далее стояла конная гвардия в две шеренги, за нею в линию 2-ой батальон Преображенского полка, а перпендикулярно к нему, задом к коннногвардейскому манежу—Семеновский полк, при котором был и великий князь Михаил Павлович. Вторую линию составляла рота Преображенского полка, расположенная на Исакиевском мосту—эта рота должна была воспрепятствовать мятежникам переправиться на Васильевский остров—и Кавалергардский и Измайловский полки, стоявшие у дома Лобанова. Наконец, у Зимнего дворца была выдвинута 9 рота (стрел-

ковая) Финляндского полка. Такое расположение правительственных войск, или диспозиция, было указано самим Николаем; три легких орудия были перед 2 батальоном преображенцев и одно—перед семеновцами.

Сила была, конечно, на стороне Николая Павловича. Вот ряд наиболее выдающихся моментов этого знаменательного дня—подробности мы берем из записок Николая Павловича, работы Щеголева о Каховском и других общеизвестных печатных источников.

«Утро было сумрачное, холодное:—8° мороза. Московский полк, под предводительством князя Щепина-Ростовского и братьев Бестужевых, в 11 часу утра показался на Сенатской площади и построился в карре, спиною к старому Сенату; затем—пишет в своих записках Николай—не доехав еще до дома Главного Штаба, увидел я, в совершенном беспорядке, с знаменами, без офицеров лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Под'ехав к ним, ничего не подозревая, я пошел остановить людей и выстроить; но на мое «стой» (курсив везде подлинника) отвечали мне: мы за Константина. Я указал им на Сенатскую площадь и сказал: если так, то вот вам дорога; и вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска и присоединилась без препятствий к своим одинако заблужденным товарищам. Последним явился гвардейский экипаж».

«Едва успели инсургенты,—пишет Штейнгель, в своих записках,—выстроиться в карре, как показался скачущим из дворца в парных санях, стоя, в одном мундире и голубой ленте, петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович. Слышно было с бульвара, как он, держась левой рукой за плечо кучера и показывая правой, приказал ему: «об'езжай церковь и направо к казармам». Не прошло и трех минут, как он вернулся верхом перед карре и стал убеждать солдат повиноваться и присягнуть новому императору. Вдруг раздался выстрел, граф замотался, шляпа слетела с него, он припал к луке, и в таком положении лошадь донесла его до квартиры того офицера, которому принадлежала. Увещая солдат с самонадеянностью старого отца-командира, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уго-

варивал их поверить ему. Один из членов тайного общества, князь Оболенский, видя, что такая речь может подействовать, выйдя из карре, убеждал графа от'ехать прочь, так как иначе угрожает опасность. Заметив, что граф не обращает на него внимания, он нанес ему штыком легкую рану в бок. В это время граф сделал вольт-фес, а Каховский пустил в него из пистолета роковую пулю, накануне вылитую».

Другой «увещеватель»—митрополит Серафим—встретил прием далеко не ласковый.

«Первосвятитель—рассказывает дьякон Прохор Иванов, сопровождавший митрополита,—у первой шеренги остановился и, подняв крест, говорил велегласно: «Воины! успокойтесь... вы против Бога, церкви и отечества поступили: Константин Павлович письменно и словесно трикрат отрекся от российской короны и он ранее нас присягнул на верность брату своему Николаю Павловичу, который добровольно и законно восходит на престол... Синод, сенат и народ присягнули; вы только одни дерзнули восстать против сего. Вот вам Бог свидетель, что есть это истина, и что я, как первосвятитель церкви, умаливаю вас оной,—успокойтесь, присягните!»

Между тем, из среды мятежников составилась из нескольких офицеров депутация и, приблизившись к митрополиту, с обнаженными шпагами, некоторые, будучи в нетрезвости (неправда), дерзновенно ответствовали: Несправедливо! Где Константин? Митрополит ответствовал: «В Варшаве».—Мятежники кричали: Нет, он не в Варшаве, а на последней станции, в оковах. Подайте его сюда! Ура, Константин! Какой ты митрополит, коли на двух неделях и двум императорам присягнул? Ты—изменник, ты—дезертир, Николаевский камергер. Не верим вам, подите прочь! Это дело не ваше. Мы знаем, что делаем, а ты, камергер, знай свою церковь».

Последний момент—поражение декабристов—мы приведем в разных описаниях. Первое из них принадлежит самому Николаю.

«Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможность, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистели мне через голову и, к счастию, никого из нас не ра-

нили; рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в нас поленьями; надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни; и тогда окруженные ею войска стали-б в самом трудном положении Я согласился испробовать атаковать кавалерию. Конная гвардия первая атаковала поэскадронно, но ничего не могла произвести и по темноте, и от гололедицы, но в особенности—не имея отпущенных палашей; противники в сомкнутой колонне имели всю выгоду на своей стороне и многих тяжело ранили, в том числе ротмистр В. лишился руки. Кавалергардский полк равномерно ходил в атаку, но без большого успеха. Тогда Г. А. Васильчиков, обратившись ко мне, сказал: Sire, il n'y a pas un moment à perdre, l'on n'y peut rien maintenant; il faut de la mitraille.—Я предчувствовал сию необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не мог решиться на подобную меру! и меня ужас об'ял: Vous voulez que je verse le sang de mes sujets le premier jour de mon règne!—отвечал я Васильчикову.—Pour sauver votre empire,—сказал он мне.—Эти слова меня снова привели в себя; опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверное все, или, пощадив себя, жертвовать решительно государством. Послав одно орудие легкой пешей батареи к Михаилу Павловичу с тем, чтоб усилить сию сторону, как единственное отступление мятежникам, взял другие три орудия и поставил их перед Преображенским полком, велев зарядить картечью; орудиями командовал М. К. Бакунин. Вся во мне надежда была, что мятежники устрашатся таких приготовлений и сдадутся, не видя себе иного спасенья. Но они оставались тверды; крик продолжался еще упорнее. Наконец послал я Г. М. Сухозанета об'явить им, что ежели сейчас не положат оружие, велю стрелять; ура и прежние восклицания (пошел вон, подлец, по словам Сутгофа, были ответом на обращение Сухозанета) были ответом, и вслед за этим залп.

Тогда, не видя иного способа, скомандовал: пли! Первый выстрел ударил высоко в сенатское здание, и мятежники ответили неистовым криком и беглым огнем; второй и третий выстрел от нас и с другой стороны, из орудия у Семеновского полка, ударили в самую середину толпы, и мгно-

венно все рассыпалось, спасаясь Английской набережной, на Неву, по Галерной, даже навстречу выстрелам из орудия при Семеновском полку, дабы достичь берега Крюкова канала. Велев артиллерии взять на-передки, мы двинули Преображенский и Измаиловский полки через площадь, тогда как гвардии Конный эскадрон и часть Конной гвардии преследовали бегущих по Английской набережной. Одна толпа начала было выстраиваться на Неве, но два выстрела картечью их рассеяли...»

Так описал последние моменты восстания декабристов Николай Павлович. А вот некоторые коррективы из других описаний современников.

«Говорят, что граф Толь, при наступлении сумерек, приблизился к императору и сказал ему: «Ваше величество, прикажите очистить площадь пушками или откажитесь от престола». Первый выстрел был холостой, а второй и третий с ядрами, из которых одно засело в здании сената, а другие полетели чрез Неву, к академии. На эти выстрелы было отвечено громким ура, затем пушки зарядили картечью; полковник Нестеровский прицелился прямо в карре; канонер перекрестился, затем скомандовал сам император, и капитан М. Бакунин взял фитиль из рук солдата. Через мгновение после этого в карре посыпалась картечь; мятежники бросились в Галерную улицу и через Неву в академию. Пушки отвезли на Галерную улицу и к берегу Невы и отсюда стали стрелять картечью».

Последняя попытка поправить положение дела была со стороны Бестужева—о ней он сам говорит следующее: «Картечь сделала свое дело, и Сенатская площадь опустела. Московский полк бросился по Галерной и выбежал на набержную, опустился на тонкий лед Невы, который и обрушился... Многие московцы в холодной купели нашли могилу. Когда мои молодцы были притиснуты к стенам Сената, картечь сыпалась градом, но московцы стойко выдерживали огонь. Одним из залпов подкосило моего фельдфебеля, бравого молодца Свистунова, только что мною перед Филипповками повенчанного. Когда я наклонился к нему, чтобы заткнуть носовым платком бившую кровавым фонтаном рану, он без стона и жалоб успел проговорить: «оставьте, ваше благородие... умру за... не оставьте жену». Моя рота еще дрог-

нула. Еще град картечей, и она неудержимо бросилась по Галерной. Хотя я искал момента ее задержать, но уже весь Московский полк был в замешательстве и через несколько минут стремительно напирал уже на бежавших впереди по узкой улице, обстреливаемой из орудий со стороны площади. Главная катастрофа произошла на не окрепнувшем еще льду крепости, где я предпринял последнюю попытку задержать бегущих и направиться к крепости: сделал уже первое построение рядов, но лед не выдержал.

Тотчас по прекращении стрельбы, новый государь приказал обер-полицеймейстеру Шульгину, чтоб трупы были убраны к утру.—К вечеру, часа в четыре, начали стрелять из пушек, поставленных против всех пунктов, где находилась толпа: в Галерную улицу, вдоль по Исаакиевскому мосту, по набережным, чрез гранитные перила на Васильевский остров. Пальба продолжалась с час. Тут не могло быть и не было никакого разбора: не столько участники мятежа, сколько простые зрители ложились рядами. В толпах от испуга и давки, от неловкости или слабости люди давили друг друга и гибли, догоняемые ядрами и картечами. Как далеко долетали заряды, видно из того, что одно ядро ударило в третий этаж академии художеств, в квартиру учителя Колашникова, прошибло стену и ранило кормилицу этого учителя, которая держала на руках его ребенка. Во всех домах ворота и двери были заперты и не отпирались ни на какой вопль, всякий боялся отвечать за мятежника. Народу легло так много, что Нева, набережная и улицы были покрыты трупами.—Шульгин распорядился бесчеловечно. В ночь по Неве от Исаакиевского моста до Академии Художеств и дальше по стороне Васильевского острова сделано было множество прорубей, величиною как только можно опустить человека, и в эти проруби к утру опустили не только все трупы, но (ужасное дело) и раненых, которые не могли уйти от этой кровавой ловли. Другие—ушедшие—раненые таили свои раны, боясь открыться медикам и правительству, и умирали, не получив помощи. От этого—то в Петербурге почти не осталось в живых из тех, которые были ранены 14 декабря. Государь был очень недоволен Шульгиным и сменил этого господина. Безрассудность его распоряжения открылась еще больше весною. Когда по Неве начали до-

бывать лед, то легкие льдины вытаскивали с примерзшими к ним рукой, ногой или целым человеческим трупом. Правительство должно было запретить рубку льда у берега Васильевского острова и назначило для этого другие места по Неве. Со вскрытием реки, трупы погибших были унесены в море.

Не меньше неприятно то, что полиция и помощники ее в ночь с 14 на 15 декабря пустились в грабеж. Не говоря уже, что с мертвых и раненых, которых опускали в проруби, снимали платье и обирали у них вещи,—даже убегающих ловили и грабили!

Сумрачная декабрьская ночь спустилась над Петербургом после тревожно прожитого дня 14 декабря 1825 года... Быстро смеркалось... Но окутанные поверх зипунов рогожами фонарщики не выбегали из пожарных депо и не затепляли расставленных на почтительном расстоянии друг от друга фонарей; не освещались новейшими «маслотворными» лампами окна магазинов, наконец, почти не загорались огоньки и в маленьких лачужках, и в высоких каменных громадах, кое-где уже вытянувшихся к туманному небосклону... Мрачная темнота декабрьской ночи рассеивалось лишь на перекрестках больших улиц да кое где на площадях отблеском разложенных костров, около которых грелись солдаты с ружьями в руках; но шаг за костер—и та же темнота, та же жуткая тишина. Город словно вымер: обывателя не было видно, и как-то особенно резко выделялся стук копыт быстро мчавшейся лошади, визг полозьев маленьких саней курьеров, да хруст снега под тяжелыми сапогами пикетов...

Зимний Дворец казался совершенною крепостью: внутри охрану несли «чудо-богатыри—преображенцы»; вокруг дворца сгруппировались все роды оружия; около поставленных на передки орудий грозно дымились фитили; от дворца по тем направлениям, по которым были рассеяны декабристы, по направлению к памятнику Петра Великого, к забору строющегося Исаакиевского собора, к старому, неуклюжему с башнею зданию Сената, бывшему когда-то личными аппартаментами канцлера Бестужева-Рюмина, к Галерному двору или к Английской набережной—шли цепи преданных войск.

Все было кончено, всякое сопротивление сломлено, но солдат все еще держали под ружьями на холоду, не отводили в казармы. Из уютных особняков, возле которых размести-

лись воинские патрули, стали показываться важные бритые лакеи в ливреях с гербами. На позолоченных серебряных подносах разносили офицерам чай, печенье, закуски, чтобы дать им согреться; солдатам раздавали булки, хлеб; позднее появились длинные линейки «конюшенного ведомства», запряженные парою сытых, откормленных лошадей: придворные лакеи везли чай и сбитень, и белый хлеб, и мясо... Молодой император посылал подкрепиться защитникам трона.

Медленно текли мгновения, долго тянулась тяжелая декабрьская ночь. На высоком шпице Петропавловской твердыни старинные куранты пробили половину второго ночи, и в это время к Павловскому баталиону, расположившемуся около Сената и даже по Английской набережной, близ высокого изящного особняка графа Лаваля (планшет XII, № 96; особняк был выстроен знаменитым французом архитектором Тома де Томоном, строителем Биржи, и сохранился до наших дней без изменений, за исключением окраски), под'ехал полковой командир Арбузов в сопровождении каких-то двух незнакомых лиц—эти последние были присланы из дворца. По распоряжению полкового командира, от батальона отделился прапорщик Белостецкий с командой солдат и по указанию таинственных незнакомцев, приехавших с полковым командиром, занял все входы и выходы особняка графа Лаваля.

Хозяина не было дома: гофмейстер, действительный тайный советник, он, подобно другим придворным, был во дворце; прислуга дома при первых же выстрелах—а стреляли картечью по направлению Английской набережной, так что дом графа Лаваля был в сфере огня—разбежалась от страха, и особняк стоял неосвещенным, как бы заброшенным. Где-то отыскали сальные свечи, наткнули их на штыки павловцев, и начался тщательный обыск всего особняка, от подвальных помещений до чердаков. В одной из зал, на диване, прикурнув, заснул крепким сном какой-то лакей: разбуженный шумом тяжелых солдатских шагов, увидав вооруженных солдат, он со страха забился под низкий широкий диван, и не мало усилий пришлось употребить павловцам, чтобы извлечь его из-под дивана. Вот и кабинет хозяйки, графини Лаваль, вот большой письменный стол. Ключей нет, стол заперт. Мгновение смущенья: штык отвернут от ружья,

треснула доска дорогого дерева, и жадные руки стали копаться в ворохе бумаг, в грудах писем, счетов, документов. Отодвинуты все шкафчики, выдвинуты ящики многочисленных комодов, и тщательно выстуканы стены—нет ли потайных ходов...

Обыск кончен безрезультатно... Знамени, которое будто бы графиня Лаваль вышивала своими ручками,—знамени, которое должно было развеваться над победными рядами декабристов, с вышитыми словами: «братство, равенство, свобода»—этого знамени не нашли в особняке графини Лаваль; не захватили в нем и зятя графини—князя Сергея Петровича Трубецкого. Он скрывался у сестры своей жены, бывшей замужем за австрийским посланником. Князя Трубецкого декабристы намечали в диктаторы,—но князь совершенно не оправдал возлагавшихся на него надежд.

Дом графа Салтыкова на Царицыном лугу, № 19, где жил другой декабрист, князь Евгений Петрович Оболенский, нами уже был указан раньше (планшет XII, № 97). Затем в этой же первой части нужно обратить внимание на дом № 10 по Невскому проспекту (планшет XII, № 98)—в 70-ых годах прошлого столетия этот дом принадлежал доктору Оресту Эдуардовичу Веймару, осужденному по процессу 6 мая 1880 года на 15 лет рудников.

Об этом процессе писались такие строки: «Сегодня начнется в окружном суде слушание так давно ожидаемого дела, известного в публике под названием «Веймарского». Из всех политических процессов, прошедших перед нашими глазами, это дело представляет наибольший материал, как по одному из лиц, которое в нем фигурирует, так и потому, что к этому делу пристроились почему-то самые разнообразные и маловероятные слухи. Это чуть ли не первое политическое дело, в котором на скамье подсудимых будет сидеть лицо, по своему образованию, возрасту и общественному положению менее всего подававшее подозрение в возможности его участия в преступной агитации. Не удивительно потому, что общество наше крайне заинтересовано в выяснении мотивов, которые побудили к участию в преступной пропаганде личность, повидимому, ничем не побуждаемую к такого рода опасной преступной игре».

Это лицо—доктор Веймар, богатый домовладелец, содержатель лечебницы, только что вернувшийся с русско-турецкой войны, куда он поехал добровольцем доктором и где он своею выдающеюся деятельностью заслужил ордена Анны 3 степени, Станислава 2 степени и Владимира 4 степени,—все три ордена с мечами.

Веймара обвиняли главным образом, как хозяина знаменитого рысака «Варвара», купленного им специально, чтобы устроить бегство Кропоткина, затем обвинительная власть подозревала, что помощью доктора Александр Соловьев приобрел тоже револьвер, которым он стрелял в Александра II; далее, доктора подозревали, что он давал средства вообще для нелегальной борьбы и всеми зависящими от него средствами оказывал помощь народовольцам... Веймар умер от злой чахотки, на Каре...

Затем, в Малой Морской (планшет XII, № 99) следует отметить дом Гулак-Артемовского,—в этом доме была найдена в мае 1871 года одна из прокламаций, носившая довольно неподходящее название «Виселица». Под таким общим заглавием вышло четыре номера возваний, причем в первом номере выражалась уверенность, что «начавшаяся в Париже революция распространится повсюду и, таким образом, проникнет и в Россию, что ее появление должны возвестить сильные волею и кипучею страстью молодые русские люди, которые разобьют власть и во всем сравняют людей», в последнем, четвертом номере содержалось обращение ко всем честным людям, которые должны откликнуться погибающему Парижу и возобновить начатое им дело революции. Прокламация эта заканчивалась словами: Пусть наш скромный призыв будет началом этого отклика... выступайте на борьбу с окружающими разбойниками... К оружию! К оружию»! (планшет XII, № 100).

Наконец, на Большой Морской, выходя на Кирпичный переулок и Мойку, возвышается огромный дом, некогда принадлежавший слоновому погонщику Руадзе. В этом доме находилась большая общественная зала, сдаваемая под вечера, спектакли, лекции. И здесь то 2 марта 1862 года бывший киевский профессор Павлов, один из основателей воскресных школ, прочитал публичную лекцию на тему «Тысячелетие России». Лекция была закончена профессором

очень патетически,—он выкликнул на всю залу: «Имеющий уши слышать, да слышить»... За эту лекцию профессору пришлось уехать в ссылку в маленький городок Вологодской губернии.

На этой же самой Морской, на углу Гороховой, в доме Лерхе (планшет XII, № 101) жил недолгое время Герцен.

В ротах Измайловского полка помещался ряд квартир Судзиловской—в 5-ой роте д. № 20 (планшет XIII, № 54), в 8-ой роте д. № 9 (тот же планшет, № 55) и наконец в 12 роте № 10 (тот же планшет, № 56); наконец, в этих же ротах, именно, в 3 роте д. № 12, жили Лешерн фон Герцфельд и Рабинович (тот же планшет, № 53).

Эти фамилии—фамилии действующих лиц в большом процессе пропагандистов, в процессе 193—заставляют вспомнить Феофанта Никандровича Лермонтова, народного учителя Вологодской губернии, скончавшегося в декабре 1878 года в одиночной камере Литовского замка... Умирающему Лермонтову было отказано в свидании с близкими ему лицами, а самое известие о его смерти долгое время почему-то скрывалось тайной полицией.

С именем Лермонтова связан кружок Лермонтова, основанный в 1873 году и состоявший из Е. К. Судзиловской, С. А. Лешерн фон Герцфельд, Рабинович и Милоглазкина.

Кружок Лермонтова придерживался теории Бакунина. Программа практической деятельности кружка вполне выяснилась на сходках, происходивших в квартирах студентов Техноологического Института Головина и Чернышева, где обсуждались следующие вопросы: а) каким образом довести народ до революции; b) в каком положении всего удобнее действовать среди народа: в положении рабочего или же в положении более или менее привилегированном,—в качестве учителя, фельдшера медика, земского деятеля; с) нужна ли для народного деятеля научная подготовка; d) каким образом действовать в народе: пропагандируя ли социально-революционные истины, просвещая, так сказать, теоретически рабочую массу насчет ее положения и уничтожения властей, или же, опираясь на существующее в народе недовольство, прямо, без предварительной подготовки, возбуждать народные страсти и е) если действовать последним путем, то каким образом расположить свои действия: захватыванием

обширной местности, стараясь связать между собою разрозненные центры недовольства, или же, ограничиваясь одною местностью—селом, деревней и т. д.,—пользоваться подходящим случаем и вызвать бунт, вспышку.

Вопрос о социальной революции считался предрешенным в утвердительном смысле. При обсуждении вышеприведенных вопросов, кружок Лермонтова высказывался в том смысле, что пропагандировать в народе следует в положении рабочего, возбуждая революционные страсти и распространяя свою деятельность на обширные местности, причем научная подготовка признавалась для пропагандиста излишнею.

Особой кассы у кружка не было, и вообще денежные средства его были ограничены. Кружок Лермонтова имел сношения со всеми прочими петербургскими кружками. Весною 1874 г. кружок принял участие в общем стремлении кружков к более тесному сближению между собою. Кроме сношения с петербургскими кружками, кружок Лермонтова имел связи и с революционными деятелями других местностей России. Независимо от сего, Лермонтов поддерживал постоянные сношения с русскими эмигрантами, преимущественно с Сатиным, при содействии которого и с помощью Рабиновича организовал ввоз в Россию через прусскую границу книг революционного содержания. К лету 1874 года все члены кружка, за исключением арестованного Лермонтова, уехали на пропаганду.

Если революционная деятельность Лермонтова более или менее выясняется для нас, то о чисто-культурной его деятельности сведений почти что не имеется, а между тем и в этом отношении Лермонтов сделал не малое: он содержал в С.-Петербурге библиотеку, он предпринял ряд изданий и несомненно играл большую роль в воскресных школах. К изучению этой стороны деятельности Лермонтова, в связи с работою воскресных школ 60-х годов прошлого столетия, мы лично приступили, и нам думается, что в скором времени удастся поделиться достигнутыми результатами.

В 12 роте Измайловского полка, д. № 11 (планшет XIII, № 56) была квартира Бердникова, одного из участников Веймарского процесса, а по Измайловскому проспекту в доме № 17 проживал Николай Яковлевич Фалин, один из

участников казанской демонстрации, поплатившийся за нее ссылкою на поселение.

Наконец, в Измайловском полку по 1-ой роте, в д. № 37/18, кв. 23 (планшет XIV, № 52) жили Желябов и Перовская перед самым событием 1-го марта. Желябов проживал под именем Николая Ивановича Слатвинского, брата Перовской, имевшей паспорт на имя Лидии Антоновны Воиновой. Обыск в этой квартире был сделан утром 1-го марта всего лишь за несколько часов до покушения на Александра II,—жильцов уже не было в квартире. Желябов был арестован, а Перовская-Воинова успела скрыться. В квартире, кроме разных принадлежностей химических опытов, могущих служить и для приготовления взрывчатых веществ, были найдены, между прочим, четыре жестянки из-под конфект и одна из-под сардинок с остатками черного динамита, а также две каучуковые красные трубочки.

По заключению эксперта, генерала-майора Федорова, каучуковые трубки подобны тем, которые были употреблены при устройстве бомб 1 марта.

Слатвинский и Воинова жили весьма уединенно, гостей не принимали, писем не получали, прислуги не имели, так что Воинова сама покупала провизию и готовила кушанье. 27 февраля 1881 года она вышла из квартиры вместе с Слатвинским (Желябов), который уже более не возвращался. Воинова же вернулась вечером и провела ночь дома. 28 февраля она два раза через задний ход приходила в помещавшуюся в доме лавочку, причем в первый раз купила коленкору, а во второй раз тесьмы. В оба свои прихода в лавочку она выходила из нее чистым входом прямо на улицу, причем после вторичного ее появления, около 9 часов вечера, Воинову уже в доме не видели, и 1-го марта, по приезде должностных лиц для производства обыска, эта квартира (планшет, XIV, № 52) оказалась пустою.

27 февраля 1881 года околоточный надзиратель Илья Дмитриев следил за одним из посетителей сырной лавки Кобозева, помещавшейся в доме гр. Менгдена. Околоточный надзиратель увидел, что этот молодой человек на углу Невского проспекта и Малой Садовой нанял извозчика, так называемого лихача, на Вознесенский проспект. По словам этого извозчика, неизвестный дорогой изменил цель своей

поездки и приказал ехать в Измайловский полк, где на углу 1-ой роты и Тарасова переулка (XIV планшет, № 51)—остановил извозчика посредине улицы, затём, бросил ему 3 р. 20 коп., повернул в переулок сзади саней и скрылся.

Это была последняя поездка Желябова. На другой день, как мы и говорили выше, он был арестован на квартире Тригони.

Покидая Измайловский полк и идя в ту местность, которая уже потеряла прежнее название «Семеновский полк», и старые былые роты наименованы в честь уездных городов Московской губернии, мы должны перейти Забалканский проспект.

Этот переход заставляет нас вспомнить Егора Сергеевича Сазонова и выдающийся террористический подвиг—убийство министра Плеве (планшет XIV, № 57).

Вот как повествует об этом акте в своем письме сам Сазонов: «Мой костюм железнодорожного служащего об'яснялся тем, что дело должно было произойти где-нибудь поблизости вокзалов: в этом костюме я не обращал на себя внимания средя массы железнодорожников, проходивших там. При появлении на месте действия я по обстановке заметил, что встреча с Плеве неминуема: обстановка была обычная, плевенская—усиленный наряд полиции, конной и пешей, начиная с Балтийского вокзала и по всему Измайловскому проспекту. На тротуаре цепь агентов в самой разнобразной форме: босяки и интеллигентно-одетые господа, то стоящие в задумчивой позе людей, погруженных в заоблачные мечтания, то прогуливающиеся ленивой барской походкою,—но на всех лицах Каинова печать, у всех алчные, загадочные, блуждающие, нахальные взоры. Жутко и весело идти под перекидным огнем таких взоров...

Карету министра я заметил очень далеко, шагов за 70 или дальше. Об ее приближении я мог бы судить раньше по той ажитации, которая началась в этот момент среди полиции и ее агентов. Карета летела стрелой; как раз посредине между каретою и мной, на самом месте роковой встречи, остановилась конка. Мне пришлось убавить шагу, чтобы дать время конке уехать или карете приблизиться... карета приближалась... Уже я ясно рассмотрел лицо кучера, а сквозь стекла кареты и его лицо. Он ехал, развалившись,

откинувшись, по своей обычной манере, на спинку сиденья, как будто прячась. Уже оставался интервал шагов в 20. Быстро, но не бегом пошел я навстречу, наперерез карете, с целью как можно ближе подойти к ней. Уже я подошел к ней почти вплотную,—по крайней мере, мне так показалось. Я увидел, как Плеве быстро переменил положение, наклонился и прилип к стеклу. Мой взгляд встретился с его широко раскрытыми глазами. Я был убежден в успехе и не знал, что происходит за спиной у меня: может быть, меня уже ловят, может быть, Плеве кричит или выскочил из кареты на противоположную сторону. Карета почти поровнялась со мной. Я плавно раскачал бомбу и бросил, целясь прямо в стекло... Что затем произошло, я не видел, не слышал— все исчезло из моего сознания. Но уже в следующий момент сознание явилось. Первая мысль—это удивление, что я жив еще. Я встрепенулся, чтобы подняться, но не почувствовал тела, как будто, кроме мысли, у меня ничего не осталось. Мне страстно хотелось узнать о последствиях. Кое-как приподнялся на локоть и огляделся. Сквозь туман я увидел валявшуюся красную шинель и еще что-то, но ни кареты, ни лошадей. По показаниям свидетелей я крикнул: «Да здравствует свобода!»

Затем началось ужасное избиение раненого Сазонова, далее, его отвезли в больницу, под видом докторов и фельдшеров к нему приходили судебные следователи и жандармы, стараясь выпытать у него побольше сведений, принимались всевозможные провокационные меры. А когда ранения Сазонова поджили, его стали судить и присудили—наступала новая пора—не ко смертной казни, а к каторге.

Дальнейшая судьба Сазонова читателям должна быть известна: он отправился в виде протеста.

Здесь же, на Забалканском, нужно отметить прежде всего знаменитый дом Сивкова № 8/105, кв. 69. Здесь 11 октября 1878 г. полиция при аресте Марии Калинкиной получила одно из первых вооруженных сопротивлений—в явившихся с обыском жандармов Мария Колинкина стреляла. Далее, в Серапинской гостиннице (планшет XIII, № 59) жил недолгое время Кибальчич. Гостинница получила свое название от фамилии управляющего ею. В 40—50-х годах прошедшего столетия отсюда, от этой гостиницы отходили

дилижансы в Москву. Летом 1880 года у Кибальчича в этой же местности была другая квартира—по Подольской улице, д. № 11 (планшет, XV № 60). Наконец, отметим, что 5 мая 1881 года полиция производила обыск на Подольской улице д. № 14/42 кв. 31, где—как говорилось в официальном извещении—повидимому, помещалась в последнее время типография «Народной воли» (планшет XIV, № 61).

С грустным, более того, с тяжелым чувством приступаю к последней главе моей работы. Придется развернуть перед читателем кровавые страницы русской революции—перечислить те места, где, выражаясь официальным языком совершались акты правосудия, приводились в исполнение судебные приговоры, а попросту—воздвигались позорные столбы и виселицы...

Первые пять виселиц были воздвигнуты 13 июля 1826 года на высоких земляных стенах Кронверка (X планшет, № 43). Валов этих в настоящее время не существует, они срыты, а место, где они некогда были, отошло под часть Александровского парка. Но в описываемое время парк не существовал, была обширная немощенная площадь, которую, по крепостным законам, нельзя было застраивать. Валы виднелись издалека, и еще рельефнее в утренние сумерки знойного летнего дня должны были выделяться пять столбов для пяти декабристов, поставленных «вне разряда»—Рылеева, Пестеля, Бестужева-Рюмина, С. И. Муравьева-Апостола и Каховского...

И в последнем акте суда Николай I не мог не разыграть комедии—комедии милосердия; участь поставленных вне разряда царь предоставил решению суда—т. е. не он, царь, назначил и утвердил смертную казнь пяти декабристам, а «независимый» Верховный суд, решению которого подчинился и сам царь.

Так говорилось в официальных актах. А на самом деле председатель этого суда, светлейший князь Лопухин, получает конфиденциально от начальника штаба, барона Дибича, следующее доношение: «Милостивый Государь, князь Петр Васильевич!.. В высочайшем указе о государственных преступниках на доклад, Верховного Уголовного суда, в сей день

состоявшемся, между прочим, в статье 13-ой сказано, что преступники, кои по особенной тяжести их злодеяний не включены в разряд и стоят вне сравнения, предаются решению Верховного Уголовного Суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится.

На случай сомнения о виде казни, какая сим преступникам судом определена быть может, государь император повелеть мне соизволил предварить Вашу светлость, что его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, но даже и простое отсечение головы и, словом,—ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную».

После такого категорического утверждения—что оставалось делать суду? Конечно, приговорить к виселице... Они были построены, а генерал-ад'ютант Голенищев-Кутузов, наблюдавший за исполнением казни над декабристами, в тот же день подал Николаю I следующее донесение:

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так со стороны жителей, которых было не много. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе три, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев—сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу».

Вдумайтесь в весь ужас этого всеподданнейшего донoшения: веревка не выдержала, она была гнилая, трое повешенных сорвались, их, полуживых, снова вешают, и присутствовавший при экзекуции высший чин находит, что «экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком»!

В то время, как на валах Кронверка вешали пятерых декабристов, внизу, на глассисе крепости (планшет X, № 44) проделывали над остальными декабристами унизительную процедуру выполнения приговора: переодевали в арестантские одежды и ломали над головою шпаги...

При следующем выполнении приговора Николай Павлович не мог себе отказать в удовольствии проделать комедию 22 декабря 1849 года должна была произойти процедура провозглашения приговора над петрашевцами, над этими

участниками «заговора идей». Место для приговора было избрано другое—Семеновский плац (планшет XIV, № 62).

Арестовали «петрашевцев» весною, в легких весенних костюмах, а приговор об'явили зимою, в конце декабря, в суровый морозный день,—и привезли на Семеновский плац в том наряде, в каком арестовали, только на ноги дали теплые чулки. Это было, так сказать, издевательство вне-программы,—просто соответствующее начальство не распорядилось. При казни декабристов не осмотрели хорошенько веревки, а теперь не обратили внимания, как одеты подсудимые. Но дальше шло издевательство по ранее выработанной, высочайше аппробированной программе. Дело обстояло следующим образом.

«Подошел священник с крестом в руке и, став перед нами, сказал: «сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела,—последуйте за мною!» Нас повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в карре. Такой обход, как я узнал после, был назначен для назидания войск, и именно Московского полка, так как между нами были офицеры, служившие в этом полку—Мольбелли, Львов. Священник с крестом в руках выступал впереди, за ним мы все шли, один за другим, по глубокому снегу... Наш обход карре был довольно продолжительным... Наконец мы на эшафоте... Нас поставили двумя рядами, перпендикулярно к городскому валу... Когда мы были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было «на кара-ул», и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался по всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано нам: «шапки долой»! После того чиновники в мундире стали читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Всего невозможно было уловить, что читалось—читалось скоро, невнятно, да и притом же мы все содрогались от холода. По изложении вины каждого, конфирмация оканчивалась словами: полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни—расстрелянием, и 19 сего декабря государь император собственноручно написал: «быть по сему».

Мы стояли все в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны,

и солдаты стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были в саванах, кто-то сказал: «каковы мы в этих одеяниях!»

Взошел на эшафот священник—тот же самый, который нас вел—с Евангелием и крестом, и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между нами на противоположном входу конце, он обратился к нам со следующими словами: «Братья!» пред смертью надо покаяться... Кающемуся Спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди...»

Никто из нас не отозвался на призыв священника,—мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призывал к исповеди. Тогда один из нас—Тимковский—подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедываться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещеванием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие близ его стоявшие, а даже, быть может, только один сосед его, Спешнев; священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив это дело, стоял среди нас как бы в раздумьи. Тогда раздался голос генерала, сидящего возле эшафота на коне: «Батюшка! вы исполнили все, вам больше здесь делать нечего!»

Священник ушел, и сейчас же вошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к трем столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули веревки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание: «колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки были опущены на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: «Клац», и вслед затем группа солдат—их было человек 16 — стоявших у самого эшафота, по

команде направили ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли.

Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей, близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них в упор ружейные стволы и ожидать—вот прольется кровь, и они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно... Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я, тогда еще не служивший в военной службе, не понимал. «Вот и конец всему!»... Но вслед затем увидели, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева, Момбелли и привели их снова на эшафот на прежнее место. Приехал какой-то экипаж; оттуда вышел офицер—флигель-ад'ютант — и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и, взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание...»

14 декабря 1861 года на старом Сытном рынке, бывшем приблизительно там, где теперь помещается деревянная лютеранская церковь, был произнесен приговор над известным поэтом М. И. Михайловым—подробностей этого приговора не сохранилось (планшет X, № 45). А через три года, 19 мая 1864 года, на другой, тоже уже не существующей площади, Мытнинской на Песках (планшет VIII, № 65),—площадь эта превращена в сквер,—об'явили приговор над Прометеем русской революции Н. Г. Чернышевским. Исполнилось таким образом предсказание Некрасова:

Его еще покаместь не распяли,
Но час придет—он будет на кресте...

Описание этой казни оставил очевидец ее: «Я на площади. Высокий, черный столб с цепями, эстрада, окруженная солдатами, жандармами и городовыми, поста-

вленными друг возле друга, чтобы держать народ на благородной дистанции от столба. Множество людей, хорошо одетых, кареты, генералы, снующие взад и вперед, хорошо одетые женщины,—все показывает, что происходит нечто чрезвычайное. Какая-то старуха предложила мне скамейку.—Надо сиротам хлеб заработать, говорила она мне; если бы она взяла с меня не 10 к., а 50, то и тогда бы я с удовольствием взял бы скамью, потому что публики набралось слишком много, и мне уже приходилось стоять в третьем ряду.

«Смирно»,—раздалась команда, и вслед затем карета, окруженная жандармами с саблями наголо под'ехала к солдатам... Толпа ринулась к карете. Раздались крики «назад!» жандармы начали теснить народ, вслед затем три человека пошли быстро по линии солдат к эшафоту: это были Чернышевский и два палача. Раздались сдержанные крики передним: «уберите зонтики». И все замерло. На эстраду вошел какой-то полицейский. Скомандовал солдатам «на караул». Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора. Чтение это продолжалось около четверти часа. Никто не мог слышать. Сам же Чернышевский, знавший его еще прежде, менее, чем всякий другой, интересовался им. Он, повидиму, искал кого-то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую-то сторону раза три. Наконец, чтение кончилось. Палачи опустили его на колени и сломали над головой шпагу, и затем, поднявши его еще выше на несколько ступенек, взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь, палач надел на него фуражку. Чернышевский, поблагодарив его, поправил фуражку, насколько позволяли ему его руки, и затем, заложивши рука в руку, спокойно ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание... По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, схвативших друг друга за руки, и только усилиями контр жандармов толпа была отделена от кареты. Тогда были брошены Чернышевскому цветы. Карета повернула назад, и по обыкновению всех поездок с арестантами, пошла шагом... Нужен был какой-нибудь сигнал, чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал очень молодой офицер. Снявши фуражку, он крик-

нул: «Прощай, Чернышевский!» этот крик был немедленно поддержан и потом сменился еще более колким словом «До свидания!» ...

Прошло еще два года. Подошло сначала 3 сентября 1866 года, а затем и 4 октября того же года. 3 сентября, на Смоленском поле (планшет XI, № 50), казнили Каракозова, а 4 октября повторили процедуру «примерной» казни над Ишутиным и другими каракозовцами. «В три четверти седьмого утра на Смоленское поле со стороны Среднего проспекта появилось несколько карет, из которых в первой находился Каракозов со священником. По выезде карет в поле, Каракозова вывели из кареты, посадили на позорную колесницу, спиною к лошадям. Впереди колесницы ехал отряд жандармов с обнаженными шашками. Одет Каракозов был в черное пальто, серые панталоны, на голове была черная шапка. Каракозов сидел бледный и казался сильно взволнованным, так что, если бы он не был привязан к своему сидению, то непременно упал бы. Под’ехав к эшафоту, колесница остановилась. На неё взошли палачи, отвязали преступника, который встал тогда и, сняв фуражку, два раза перекрестился. Лицо его, видимое всему народу, было бледно, а на груди была привешена черная доска с надписью белыми буквами: «государственный преступник». Когда его подвезли к эшафоту и сняли с колесницы: то он как будто, не удержался на ногах, но тотчас оправился и, поддерживаемый палачами, взошел на эшафот. По всему полю водворилась мертвая тишина, которая, когда на эшафот для чтения приговора вошел чиновник, прервалась барабанным боем... Каракозов стоял во время чтения и, видимо, был сильно взволнован, беспрестанно с изнеможением опуская голову на плечи и грудь... Чиновник сошел с эшафота и был сменен священником в черном облачении, с крестом в руках. Каракозов начал торопливо креститься, когда священник стал подниматься на эшафот. Когда же священник подошел, Каракозов со сложенными руками упал на колени и начал исповедываться. По прочтении священником отходной, Каракозов встал и приложился к кресту. Священник вновь его перекрестил и удалился. Тогда Каракозов, поддерживаемый палачами, стал кланяться народу. Его привели к столбу, сняли верхнее платье, завязали платком

глаза и надели белую рубашку. Ему связали рукавами рубашки назад руки. Когда его повели е эшафота, он шел с трудом, поддерживаемый под руки палачами; ноги его колебались. На платформу виселицы его почти внесли. Когда надели на шею роковую петлю, то народ, стоявший на поле, стал креститься. Барабаны били дробь... Было ровно десять минут восьмого, когда лестницу отняли, и тело повисло в воздухе. Сначала ноги повешенного находились в несколько согнутом положении, и сапоги держались вместе. Два три легких судоржных подергивания—и тело окончательно повисло, и оконечности ног разошлись. В это время войска перестали бить дробь. Приблизительно через $^{1}/_{2}$ часа после повешения труп был снят и положен в черный гроб, привезенный на роспусках, стоявших в это время около виселицы. Гроб покрыли тремя рогожами и повезли на Голодай, в сопровождении отряда конных жандармов».

На том же самом Смоленском поле по тому же самому церемониалу, с накидыванием на шею петли, проделали приговор над Ишутиным — и в самый последний момент об'явили помилование. Ишутин не выдержал этого «примерного испытания» и сошел с ума.

После казни Каракозова наступил значительный интервал, и 20 апреля 1879 года воздвигли виселицу на стенах Петропавловской крепости, со стороны Невы (планшет X, № 66). На этой виселице повесили Дубровина. Через месяц с неделею, 8 мая того же года, на Смоленском поле казнили Александра Соловьева, отказавшегося от последнего напутствия священника. 22 февраля 1880 года на Семеновском плацу был повешен Ипполит Млодецкий, покушавшийся на жизнь Лорис-Меликова. 4 ноября того же года на Иоанновском равелине Петропавловской крепости, т. е. в той ее части, через которую некогда проходила конка (планшет X, № 77), были повешены Александр Квятковский и Пресняков, а 3 апреля 1881 года на Семеновском плацу (планшет XIV, № 92) были казнены Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков,—тоже пятеро, как и в процессе декабристов.

В шесть часов утра осужденных разбудили, предложили им чай и переодели в казенную одежду. Павел Фролов и его помощники усадили осужденных в заранее приготовлен-

ные колесницы. Руки, ноги и туловище прикреплялись ремнями к сидению.

В 8 часов 50 минут утра выходящие на Шпалерную ворота дома предварительного заключения распахнулись, и из них выехала первая колесница, запряженная парою лошадей. На колеснице помещались Желябов и Рысаков. Оба были в черных, солдатского сукна, арестантских шинелях и таких же шапках без козырьков. На груди у каждого висела черная доска с белою надписью: «Цареубийца». За первою колесницею выехала вторая—с Кибальчичем, Перовской посредине и Михайловым, который при выезде на улицу стал что-то громко говорить. По одной версии, он об'явил народу, что их всех подвергли жестокой пытке, по другой об этом заявил Желябов. Барабаны заглушали голоса говоривших. По пути следования Михайлов пытался повторить свои выкрики, кланяясь в то же время народу на все четыре стороны. За осужденными ехали три кареты с пятью православными священниками, облаченными в траурные ризы, с крестами в руках.

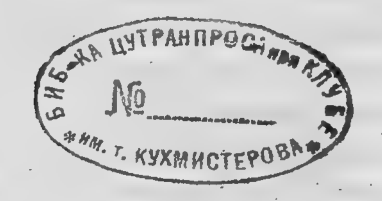
Тяжелое впечатление производили колесницы, громыхавшие по мостовой и подбрасывавшие осужденных на каждом ухабе. Огромная толпа собралась на Семеновском плацу. Царила тишина. Ближе к эшафоту расположены были конные жандармы и казаки, а впереди—почти у виселиц—пехота: лейб-гвардии Измайловский полк. Черный, почти квадратный помост эшафота обнесен был выкрашенными черною краскою перилами. На помост вели шесть ступеней. Против входа возвышались три столба с цепями на них и наручниками. У столбов небольшое возвышение, на которое вели две ступени. Посредине была приготовлена подставка для казненных, по бокам платформы—два высоких столба с перекладиной, имевших шесть железных колец для веревок. Это была общая виселица для «первомартовцев»; шестое кольцо предназначалось для Геси Гельфман, казнь которой в виду ее беременности, была отсрочена, а затем вышло и помилование. Позади эшафота можно было видеть пять черных гробов со стружками в них и парусинными саванами... Палач, стоя на лестнице, стал прикреплять к пяти кольцам привычною рукою веревки с петлями. Фролов был одет в синюю поддевку, как и два его помощника. К ним на

помощь были прикомандированы 4 солдата арестантских рот. Когда колесницы остановились, палач отвязал Желябова и Рысакова, а помощник ввел их под руки по ступенькам на эшафот и поставил рядом. Тем же порядком были развязаны и поставлены остальные. На спокойном, бледном лице Перовской был румянец. Желябов казался нервно возбужденным и все смотрел в сторону Перовской. Совершенно спокоен был Кибальчич, менее Рысаков и Михайлов... По прочтении приговора, забили мелкую дробь барабаны. Вплоть до надевания белых саванов с башлыками Желябов, Кибальчич и Перовская сохранили видимую бодрость. Желябов и Михайлов облобызались с Перовской. Палач, сняв поддевку и оставшись в новенькой красной рубахе, принялся за дело, начав с Кибальчича, все время не терявшего бодрости, словно желая продлить предсмертные муки более его взволнованных товарищей. Надев на Кибальчича саван и наложив вокруг шеи петлю, палач притянул крепко веревку, завязав конец к правому столбу виселицы. За Кибальчичем Фролов принялся за Михайлова, Перовскую, Желябова и, наконец, за Рысакова, у которого при виде готовых к казни товарищей по виселице подкосились колени. Палач быстрым движением натянул на Рысакова саван и башлык. Окончив все приготовления, Фролов подвел Кибальчича к высокой черной доске и помог ему взойти на две ступени, отдернув затем веревку,—и Кибальчич повис в воздухе. Смерть палач давал мгновенно. Тело Кибальчича, сделав несколько слабых кружков, вскоре повисло без всяких движений и конвульсий. Затем два помощника палача ввели Михайлова, который, казалось, был уже без сознания. Когда палач затянул на нем петлю, он упал и повис, хотя скамейка была у него еще под ногами, палач вышиб ее, и—о ужас! веревка оборвалась, и Михайлов упал на эшафот. От удара он пришел в себя, и все видели как он поднялся один, без посторонней помощи. Когда Михайлова повесили вторично, веревка опять лопнула, и он опять тяжело упал. Только в третий раз Михайлов повис без движения.

Пока возились с Михайловым, остальные подсудимые стояли тут же, с капюшонами на лице, сквозь которые, однако, было все видно. За Михайловым казнили Желябова, Пе-

ровскую, которая, не ожидая палача, сама оттолкнулась от скамьи, а потом Рысакова, который, будучи сталкиваем палачом со скамьи, несколько мгновений старался ногами удержаться на ней. Видя отчаянные движения Рысакова, помощник палача быстро стал отдергивать скамью, а Фролов дал ему сильный толчок в спину.

В 9 часов 30 минут казнь окончилась...



ПРИЛОЖЕНИЕ.

Алфавитный указатель к планшетам.

Арест Преснякова XI, 46.

Баранников, квартира II, 5.
Бердников, тоже XIII, 56.
Беседа Народная, редакция XI, 79.
Библиотека Черкесова III, 67.
Боголюбов, квартира V, 34.

Богословская, квартира IV, 22.
Бюро Паспортное, VII, 29.

Гельфман, квартира VII, 32.
Герцен, квартира XII, 100.
Глассис крепости X, 44.
Гостинница Знаменская VII, 28.
Гостинница Москва IV, 25.

Дача Бабопина IX, 84.

Дворец Зимний XII, 92.
Девятое января XII./
Дегаев, квартира VII, 30.
Декабристы XII, 9.
Добролюбов, квартира V, 40.
Дом Веймара XII, 98.
" Гулак-Артемовской XII, 99.
" Литературный VI, 17.
" Лаваль XII. 96.
" Меншикова III, 15.
" Павловой IV, 20.
" Предварительного Заключения V, 38.
" Руадзе XII, 101.
" Сивкова XIV, 58

Желябов XIII, 51.

Завод Кенига IX, 86.

Казнь Дубровина X, 66.
« Квятковского и Преснякова X, 76.
Квятковский, квартира IV, 23.
Кибалич, квартира VII, 31. XIV, 59, 60.
Клеточников, квартира VI, 26.
Крепость Петропавловская X, 42.
Кронверк X, 43.

Лавка Кобозева III, 14.
Лавров, П. Л., квартира V, 72.
Лешерн, квартира XIII, 53.
Люстиг, квартира I, 3.

Мартиновский, квартира II, 9.
Мастерская динамитная I, 4.
Мезенцев, убийство III, 13.
Михайловский, Н. К., квартира IV, 24.
Михайлов Алдр., квартира IV, 19. VIII, 75.
Михайлов Адриан, тоже XI, 47
Михайлов Тимофей, тоже VIII, 78.
Мост Каменный II, 10.
Муравьев, квартира III, 69.

Некрасов, квартира V, 41.
Нечаев, квартира IV, 74.

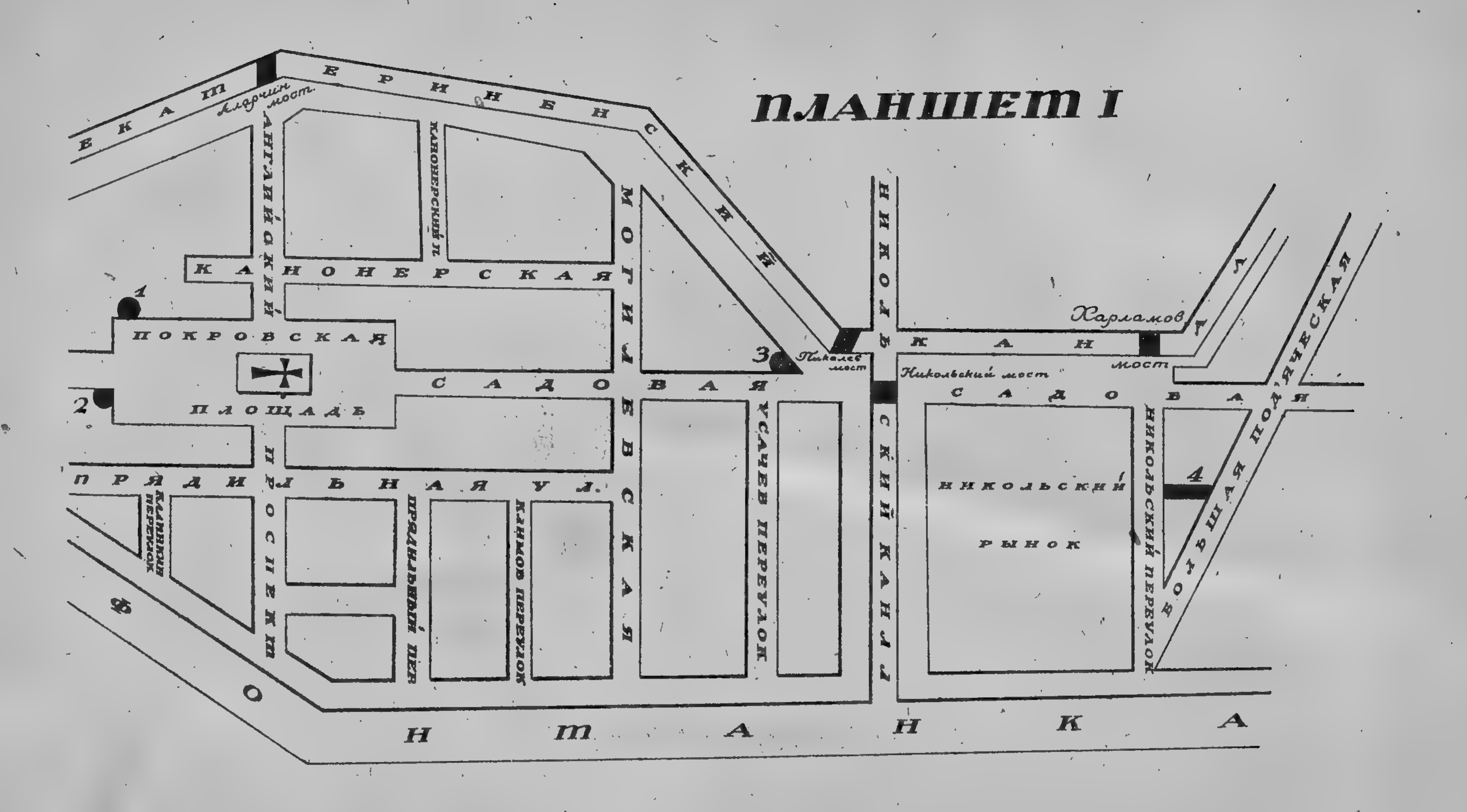
Оболенский, квартира XII, 97.

Первое марта III, 12.
Перовская, квартира IX. 82 XIII. 52.
Петрашевский, квартира I, 1.
Плац Семеновский XIV, 62.
Плеве, убийство XIV, 57.
Площадь Знаменская VII, 77.
« Казанская II, 11.
Поле Смоленское XI, 50.
Полк Московский IX, 87.

Речка Черная IX, 88.
Рынок Сытный X, 45.
Рысаков, квартира VIII, 63, 64.

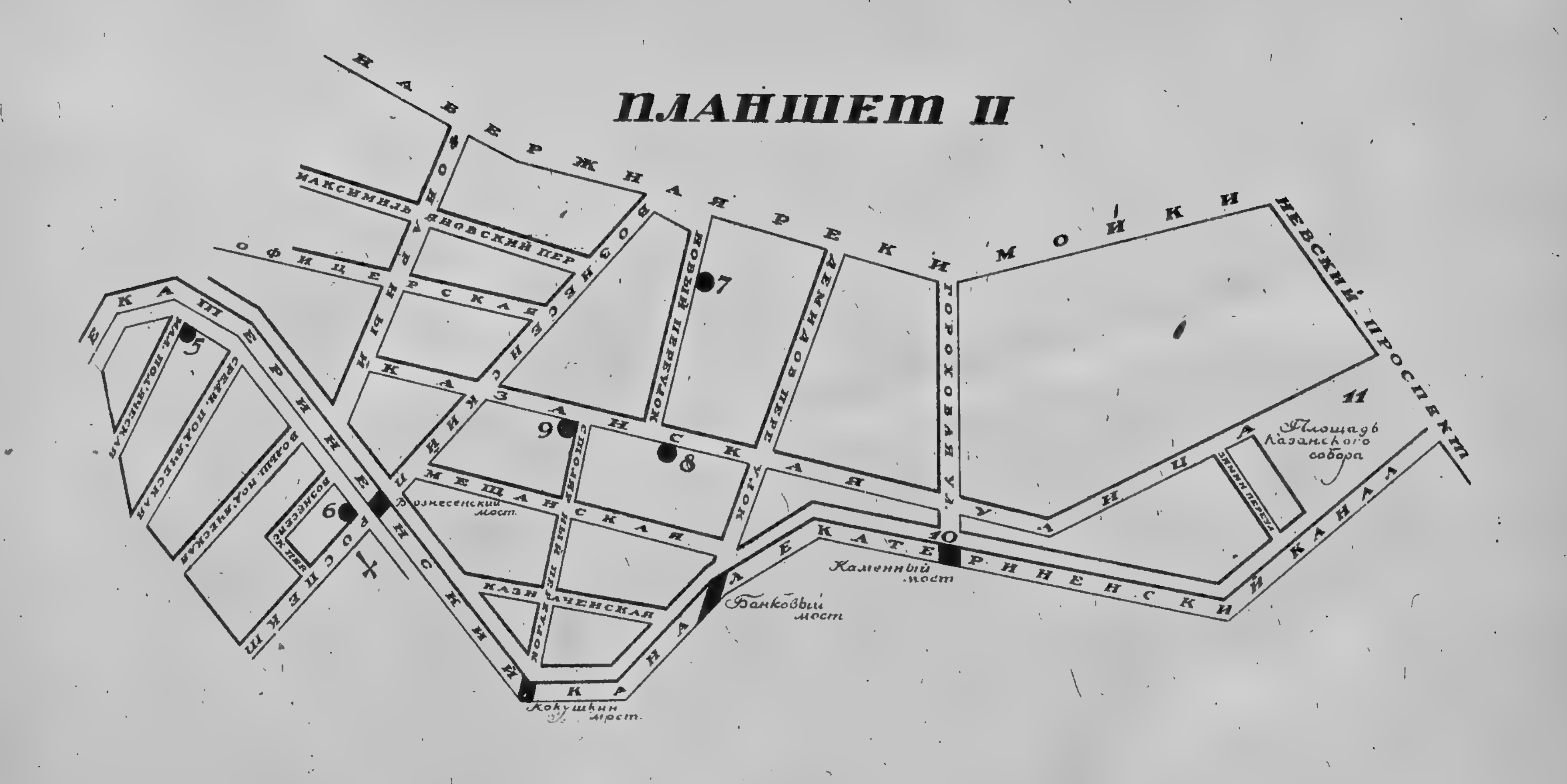
Сабуров, квартира V, 33.
Сад Летний XII, 91.
Свистунов, квартира III, 70.
Сердюков, квартира IX, 81.
Склад книжный Тиблена XI, 48.
Смерть Сидорацкого V, 36.
Соловьев, покушение XII, 94.
Стародворский, квартира I, 2.
Столовая студенческая XI, 49.
Судзиловская, квартира IV, 18. XIII, 54, 55, 56.
Суд Окружный V, 39.
Татерсаль II, 7.
Терентьева, квартира V, 27.
Типография Народной Воли V, 35. XIV, 61.
Тиблен, склад XI, 48.
Типография Рабочей Газеты IV, 21.
Тригони, квартира III, 16.
Трубецкой кн., квартира III, 68.
Фабрика Чешера IX, 85.
Фигнер Вера, квартира II, 6.
Фриденсон, квартира II. 8.
Хохряков, квартира IX, 83.
Цеткин, квартира IX, 90.
Чернышевский, Н. Г. IV, 73. VIII, 65.

ПЛАНШЕТ I



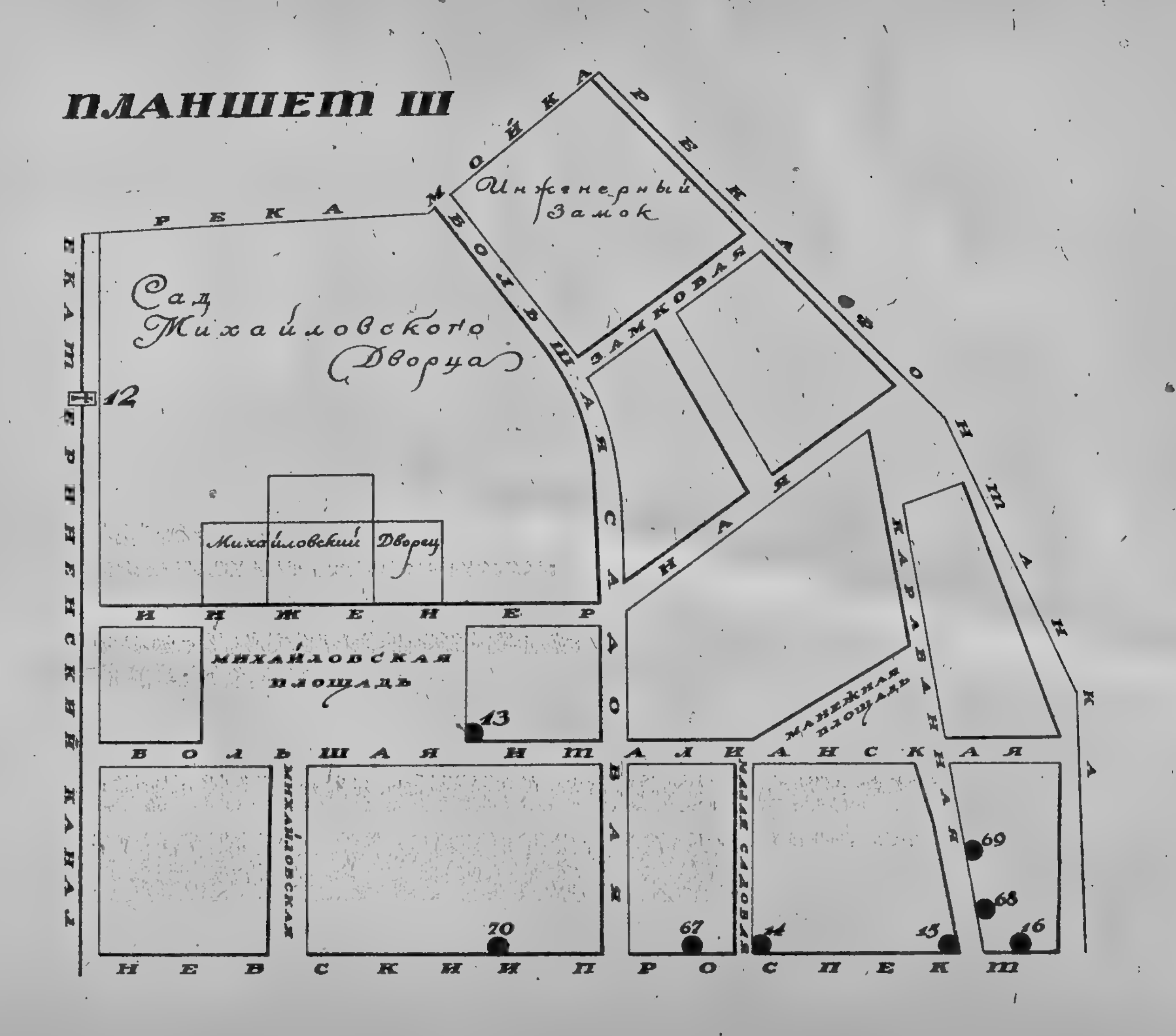
ЕКАТЕРИНЕНСКИЙ КАНАЛ
Аларчин мост
АНГЛИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ
КАНОНЕРСКИЙ П.
КАНОНЕРСКАЯ
ПОКРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
САДОВАЯ
МОГИЛЕВСКАЯ
ПРЯДИЛЬНАЯ УЛ.
КАЛИНКИН ПЕРЕУЛОК
ПРЯДИЛЬНЫЙ ПЕР
КЛИМОВ ПЕРЕУЛОК
УСАЧЕВ ПЕРЕУЛОК
НИКОЛЬСКИЙ КАНАЛ
Пикалев мост
Никольский мост
Харламов мост
НИКОЛЬСКИЙ РЫНОК
НИКОЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК
БОЛЬШАЯ ПОДЪЯЧЕСКАЯ
ФОНТАНКА
1
2
3
4

ПЛАНШЕТ II

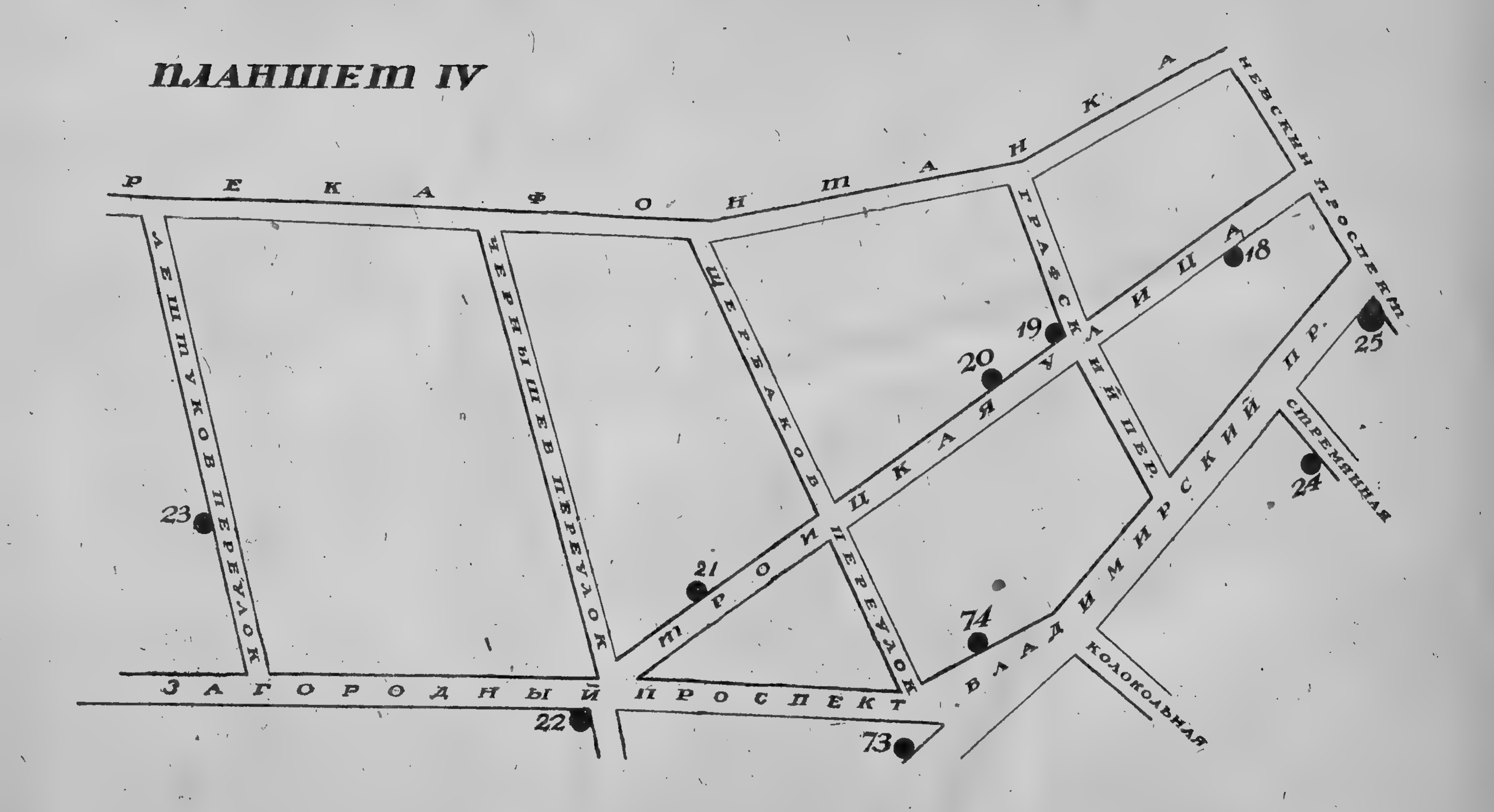


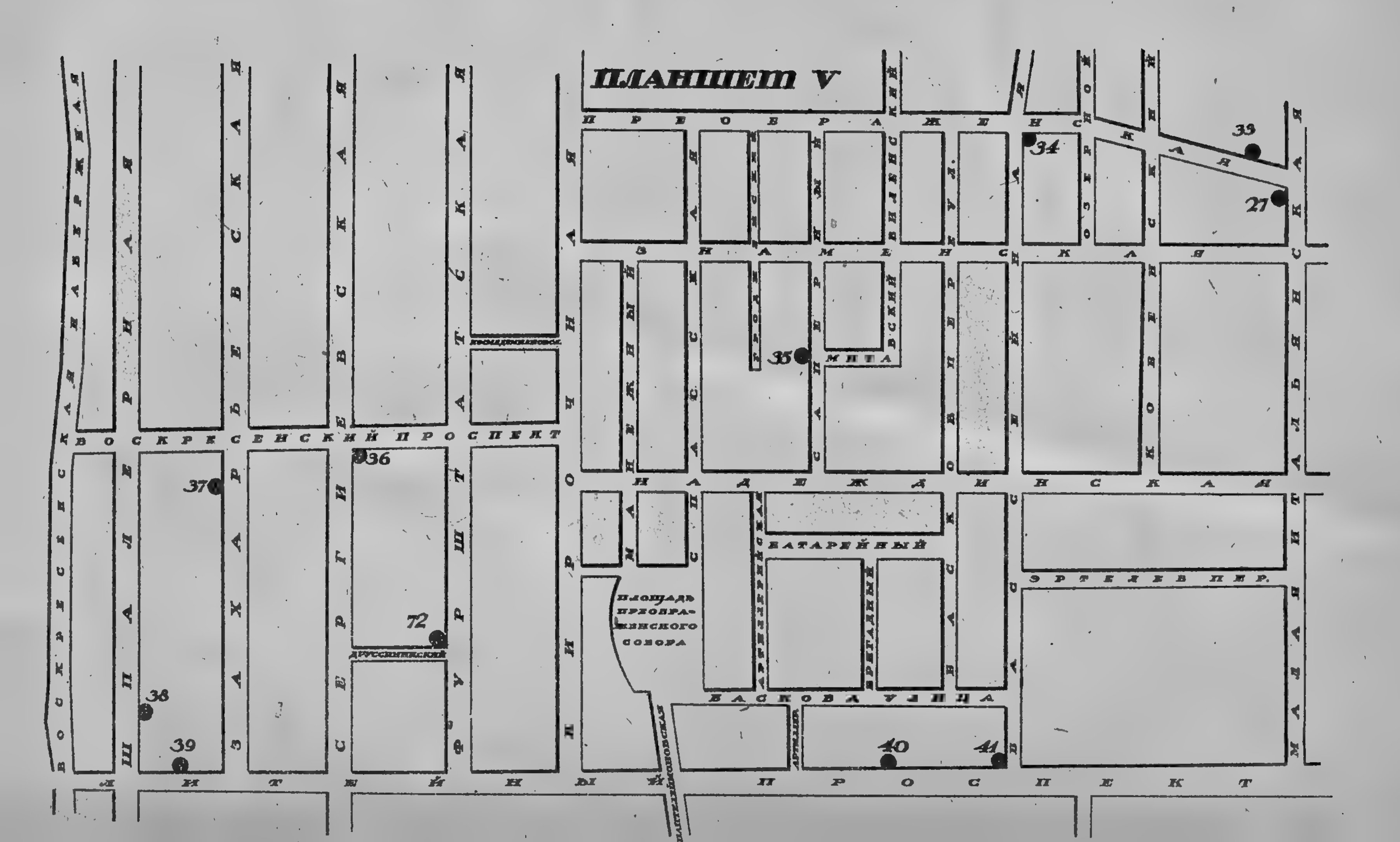
НАБЕРЖНАЯ РЕКИ МОЙКИ
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
ГОРОХОВАЯ УЛ.
ДЕМИДОВ ПЕРЕУЛОК
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПР
МАКСИМИЛЬЯНОВСКИЙ ПЕР
ОФИЦЕРСКАЯ
ФОНАРНЫЙ
КАЗАНСКАЯ
МЕЩАНСКАЯ
СТОЛЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК
КАЗНАЧЕЙСКАЯ
ЕКАТЕРИНЕНСКИЙ КАНАЛ
ЕКАТЕРИНЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ
МАЛ. ПОД'ЯЧЕСКАЯ
СРЕДН. ПОД'ЯЧЕСКАЯ
БОЛЬШ. ПОД'ЯЧЕСКАЯ
ВОЗНЕСЕНСКАЯ
ЗИМНИЙ ПЕРЕУЛ
Площадь Казанского собора
Вознесенский мост
Каменный мост
Банковый мост
Кокушкин мост
5
6
7
8
9
10
11

ПЛАНШЕТ III

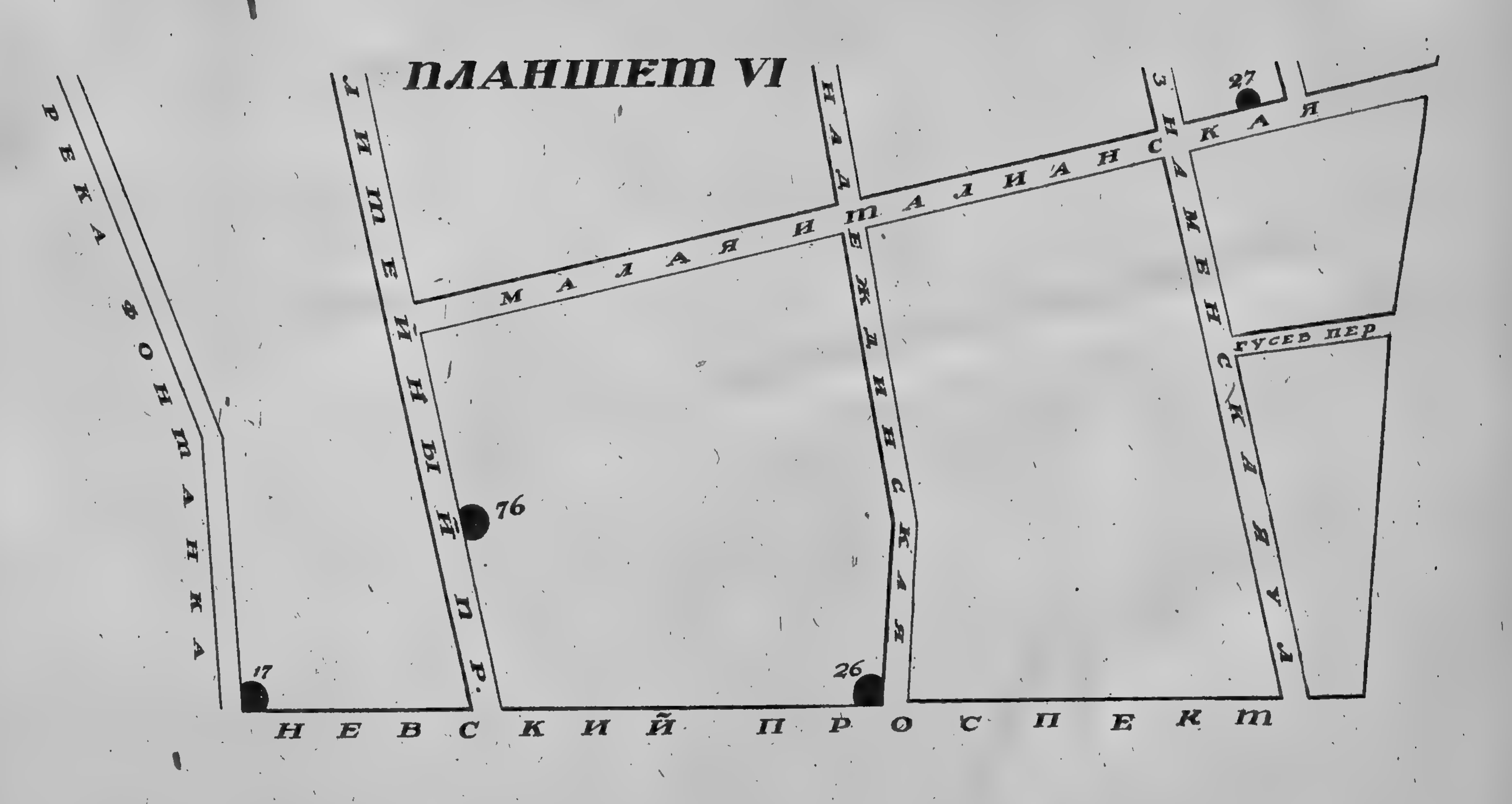


РЕКА МОЙКА
РЕКА ФОНТАНКА
Инженерный Замок
Сад Михайловского Дворца
Михайловский Дворец
ЗАМКОВАЯ
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
МИХАЙЛОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
КАРАВАННАЯ
БОЛЬШАЯ ИТАЛИАНСКАЯ
МИХАЙЛОВСКАЯ
МАЛАЯ САДОВАЯ
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ
12
13
14
15
16
67
68
69
70

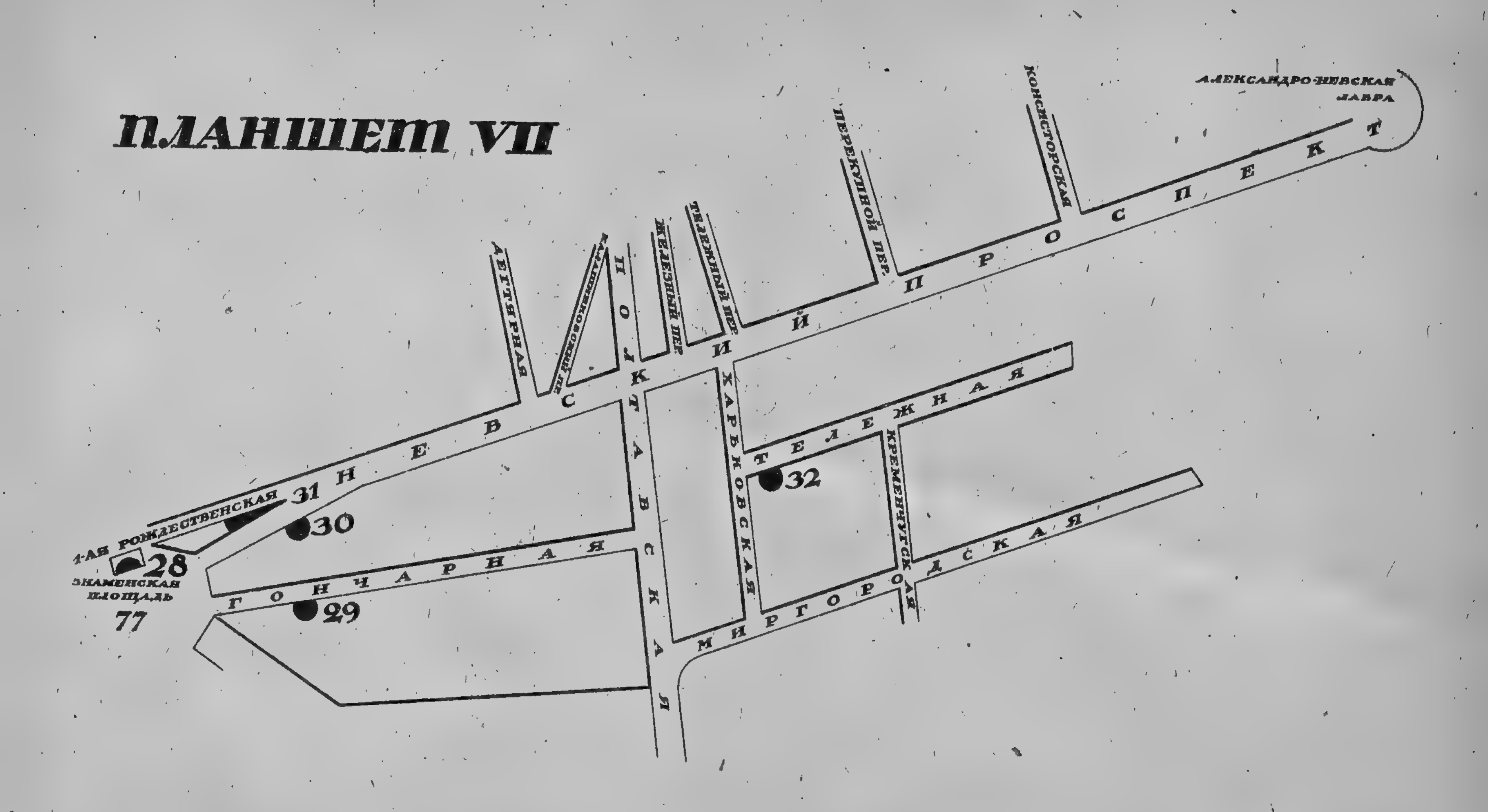

ПЛАНШЕТ IV
РЕКА ФОНТАНКА
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
ГРАФСКИЙ ПЕР.
ТРОИЦКАЯ УЛИЦА
ЩЕРБАКОВ ПЕРЕУЛОК
ЧЕРНЫШЕВ ПЕРЕУЛОК
ЛЕШТУКОВ ПЕРЕУЛОК
ЗАГОРОДНЫЙ ПРОСПЕКТ
ВЛАДИМИРСКИЙ ПР.
СТРЕМЯННАЯ
КОЛОКОЛЬНАЯ
18
19
20
21
22
23
24
25
73
74



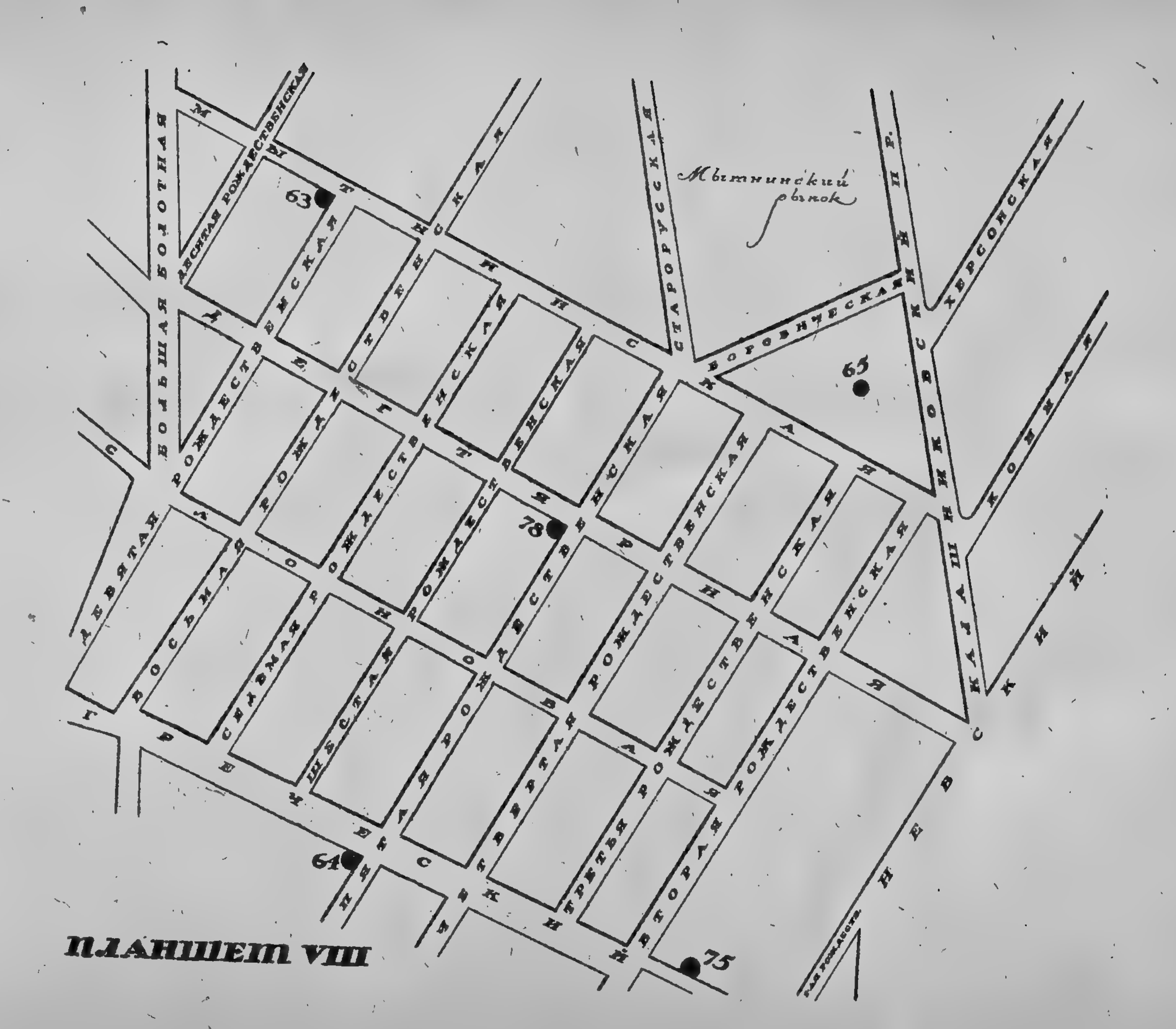
ПЛАНШЕТ V
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ЗНАМЕНСКАЯ
НАДЕЖДИНСКАЯ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ
ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ
ВОСКРЕСЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
ШПАЛЕРНАЯ
ЗАХАРЬЕВСКАЯ
СЕРГИЕВСКАЯ
ФУРШТАТСКАЯ
ЭРТЕЛЕВ ПЕР.
БАСКОВА УЛИЦА
БАТАРЕЙНЫЙ
БРИГАДНЫЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ
ПЛОЩАДЬ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА
ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКАЯ
МИТА
27
33
34
35
36
37
38
39
40
41
72


ПЛАНШЕТ VI
РЕКА ФОНТАНКА
ЛИТЕЙНЫЙ ПР.
НАДЕЖДИНСКАЯ
ЗНАМЕНСКАЯ УЛ
МАЛАЯ ИТАЛИАНСКАЯ
ГУСЕВ ПЕР
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
17
76
26
27

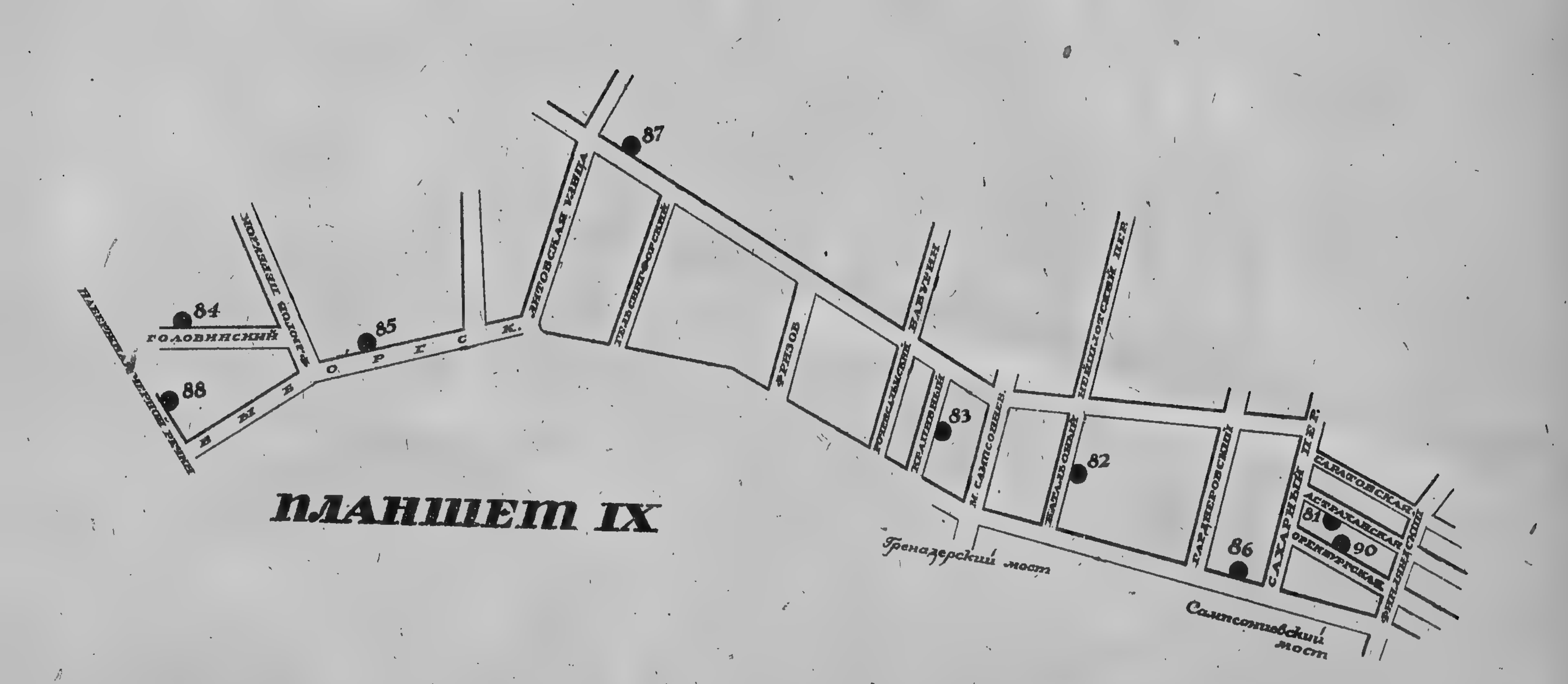
ПЛАНШЕТ VII

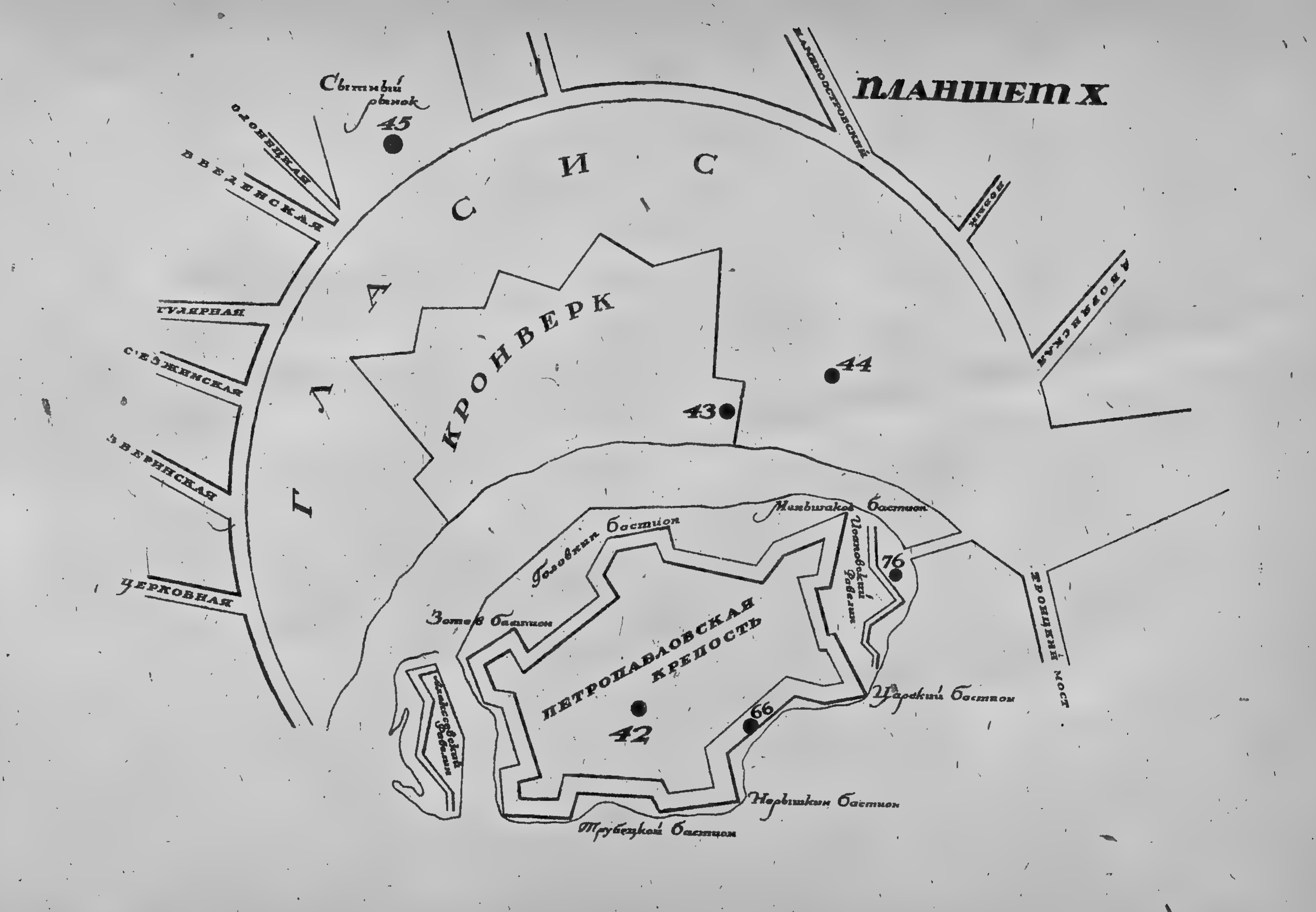


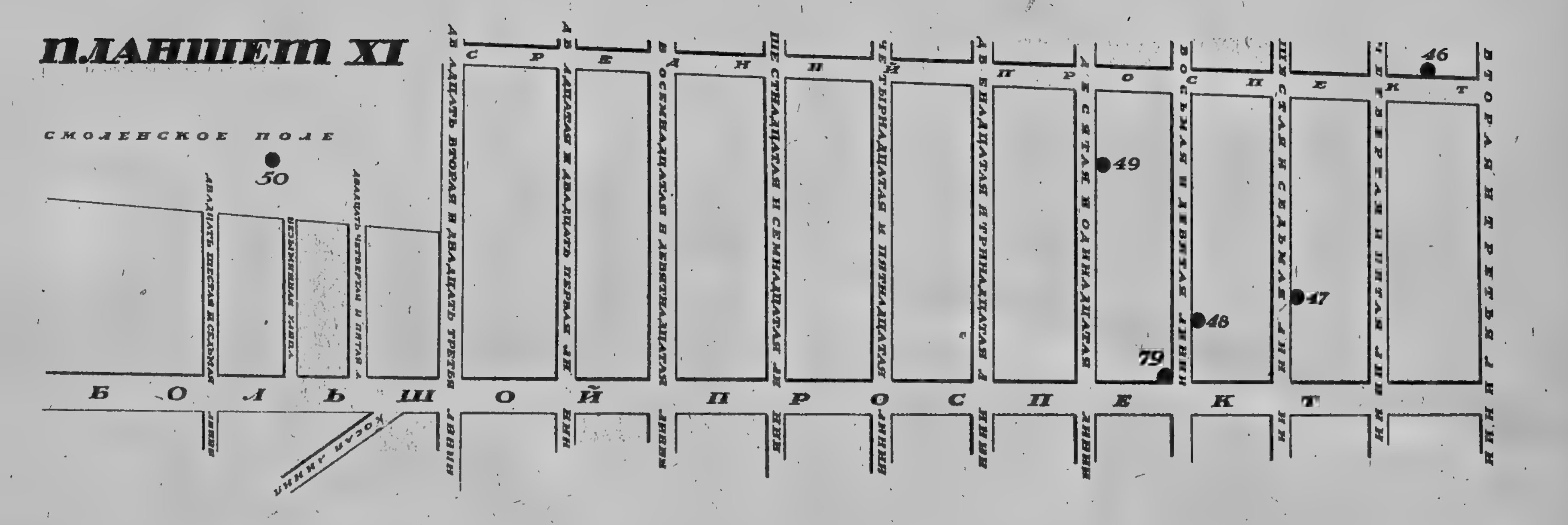
ПЛАНШЕТ VII
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
КОНСИСТОРСКАЯ
ПЕРЕКУПНОЙ ПЕР.
ТЕЛЕЖНЫЙ ПЕР.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕР.
ПОЛТАВСКАЯ
КАЛАШНИКОВСКИЙ ПР.
ДЕГТЯРНАЯ
ХАРЬКОВСКАЯ
ТЕЛЕЖНАЯ
КРЕМЕНЧУГСКАЯ
МИРГОРОДСКАЯ
ГОНЧАРНАЯ
1-АЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЗНАМЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
28
29
30
31
32
77



ПЛАНШЕТ VIII


ПЛАНШЕТ IX
Набережная Черной речки
Головинский
Флюгов переулок
Выборгск.
Литовская улица
Гельсингфорсский
Фризов
Нейшлотский пер.
Бабурин
Гренадерский
Кушелевский
М. Сампсониев.
Нейшлотский пер.
Батальонный
Бардовский
Сахарный пер.
Саратовская
Астраханская
Оренбургская
Финляндский
Гренадерский мост
Сампсониевский мост
84
85
87
88
83
82
86
81
90


ПЛАНШЕТ X
Сытный рынок
45
ОЛОНЕЦКАЯ
ВВЕДЕНСКАЯ
ГУЛЯРНАЯ
С'ЕЗЖИНСКАЯ
ЗВЕРИНСКАЯ
ЦЕРКОВНАЯ
ГЛАСИС
КРОНВЕРК
43
44
КАМЕННООСТРОВСКИЙ
НОВЫЙ
ДВОРЯНСКАЯ
ТРОИЦКИЙ МОСТ
Меньшиков бастион
Иоанновский Равелин
76
Головкин бастион
Зотов бастион
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
42
66
Царский бастион
Нарышкин бастион
Трубецкой бастион
Алексеевский Равелин


ПЛАНШЕТ XI
СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ
СРЕДНИЙ ПРОСПЕКТ
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ
ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ЛИНИИ
ЧЕТВЕРТАЯ И ПЯТАЯ ЛИНИИ
ШЕСТАЯ И СЕДЬМАЯ ЛИНИИ
ВОСЬМАЯ И ДЕВЯТАЯ ЛИНИИ
ДЕСЯТАЯ И ОДИННАДЦАТАЯ ЛИНИИ
ДВЕНАДЦАТАЯ И ТРИНАДЦАТАЯ ЛИНИИ
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ И ПЯТНАДЦАТАЯ ЛИНИИ
ШЕСТНАДЦАТАЯ И СЕМНАДЦАТАЯ ЛИНИИ
ВОСЕМНАДЦАТАЯ И ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ЛИНИИ
ДВАДЦАТАЯ И ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ЛИНИИ
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ И ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ЛИНИИ
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ И ПЯТАЯ Л
БЕЗЫМЯННАЯ УЛИЦА
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ И СЕДЬМАЯ ЛИНИИ
КОСАЯ ЛИНИЯ
46
47
48
49
50
79


НЕВА
НЕВА
Памятник Петру
Адмиралтейство
Дворец Искусств
Мраморный Дворец
Летний сад
ФОНТАНКА
ЛЕБЯЖЬЯ КАНАВКА
Площадь жертв Революции
ЦАРИЦЫНА УЛИЦА
МИЛЛИОННАЯ
ЗИМНЯЯ
КАНАВКА
ГАЛЕРНАЯ
САД ТРУДЯЩИХСЯ
Александровск. колона
ПЛОЩАДЬ УРИЦКОГО
Манеж Гваренги
Исаакиевский собор
ПОЧТАМСКАЯ
УЛИЦА ГОГОЛЯ
УЛИЦА ГЕРЦЕНА
ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ
Певческий мост
Полицейский мост
Каменный мост
Синий мост
МОЙКА
МОЙКА
МОЙКА
МОЙКА
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ПЛАНШЕТ XII

ПЛАНШЕТ XIII

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

ЗАБАЛКАНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ПЕРЕУЛОК

ПРОСПЕКТ

НОВО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПРОСПЕКТ

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

ГАРНОВСКАЯ УЛИЦА

ПЕРВАЯ РОТА

ВТОРАЯ РОТА

ТРЕТЬЯ РОТА

ЧЕТВЕРТАЯ РОТА

ПЯТАЯ РОТА

ШЕСТАЯ РОТА

СЕДЬМАЯ РОТА

ВОСЬМАЯ РОТА

ДЕВЯТАЯ РОТА

ДЕСЯТАЯ РОТА

ОДИННАДЦАТАЯ РОТА

ДВЕНАДЦАТАЯ РОТА

ЗАРОТНАЯ УЛИЦА

ТРОИЦКИЙ ПРОСПЕКТ

51

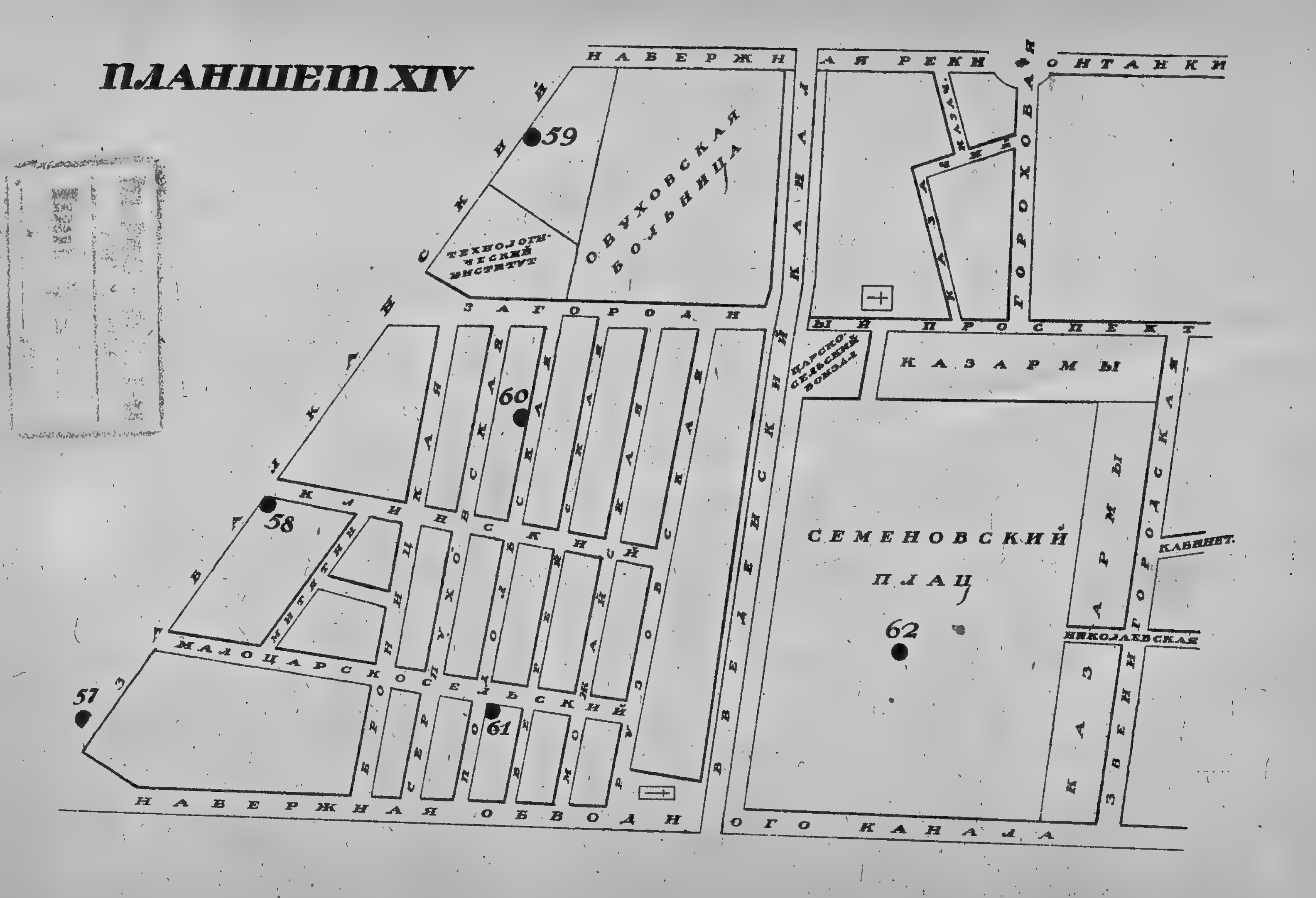
52

53

54

55

56


ПЛАНШЕТ XIV
НАБЕРЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ
ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЗАГОРОДНЫЙ ПРОСПЕКТ
ГОРОХОВАЯ
КАЗАЧ.
КАЗАРМЫ
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ВОКЗАЛ
ВВЕДЕНСКИЙ КАНАЛ
СЕМЕНОВСКИЙ ПЛАЦ
КАБИНЕТ.
НИКОЛАЕВСКАЯ
ЗВЕНИГОРОДСКАЯ
МАЛОЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ
МИТЯТИНЕ
НАБЕРЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА
57
58
59
60
61
62



ніе

